



ДОМ В ЛИТЕРАТУРЕ И ЛИТЕРАТУРА В ДОМЕ

ИЗДАТЕЛЬ САМУИЛ АЛЯНСКИЙ И «АЛКОНОСТ» В ТОЛСТОВСКОМ ДОМЕ

С. В. Белов. Юбилей “Алконоста”

В марте 1919 года исполнилось девять месяцев с основания петроградским книжником Самуилом Мироновичем Алянским (1891–1974) в Петрограде издательства «Алконост»¹.

В то бурное время девять месяцев были огромным сроком, и поэтому 1 марта 1919 года в квартире Алянского в Толстовском Доме, был торжественно отпразднован юбилей «Алконоста». Само издательство помещалось в книжной лавке на Колокольной улице.

Алконост – сказочная птица с человеческим лицом, часто изображавшаяся в старину на русских лубочных картинках. Издательство «Алконост», открывшееся в июне 1918 года, было задумано С. М. Алянским ради издания произведений русских символистов и прежде всего Александра Блока. Первая книга вышла в свет 6 июля 1918 года тиражом три тысячи экземпляров. Это была поэма Александра Блока «Соловьиный сад».

Неудивительно, что первым на юбилей «Алконоста» в квартиру Алянского в Толстовском Доме пришел Александр Блок. Он открыл приготовленный Алянским альбом автографов приветствием:

«Дорогой Самуил Миронович! Сегодня весь день я думал об “алконосте”. Вы сами не знали, какое имя дали издательству. Будет “Алконост”, и будет он в истории, потому что все, что начато в 1918 году, в истории будет, и очень важно то, что начат он в июне (а не раньше), потому что каждый месяц, если не каждый день этого года, – равен году или десятку лет. Да будет “Алконост”!

1.03.1919. Ал. Блок²»

Особенно интересна вторая, весьма важная запись А. Блока, сделанная в том же юбилейном альбоме автографов Алянского через полтора года в Толстовском Доме:

«Дорогой Самуил Миронович! Вы хотите стихов. В стихах я мог бы сейчас только смеяться и, может быть, плакать. Но я не хочу смеяться над тем, что не смешно, и плакать над тем, что грозно. Поэтому прошу Вас вновь и вновь только прозу.

5 сентября 1920. Александр Блок».³

С. М. Алянский вспоминает о юбилее «Алконоста» в Толстовском Доме:

*«Помимо основных писателей «Алконоста» – Андрея Белого, Иванова-Разумника, А. Ремизова, Константина Эрберга, – было решено пригласить на юбилей некоторых деятелей Театрального отдела Наркомпроса, где в то время работали и Александр Александрович Блок, и я: это были Мейерхольд, известный профессор-пушкинист, П. О. Морозов, а также переводчик и театральный деятель Вл. Н. Соловьев».*⁴

Многие из приглашенных к Алянскому в Толстовский Дом оставили свои автографы в юбилейном альбоме:

*«Дорогой Самуил Миронович, в торжественный день празднования «Алконоста» я приношу Вам глубокую благодарность за ту неоцененную энергию, которую Вы проявили, создавая для нас всех дорогое издательство. Пусть процветает наш «Алконост», и мы будем черпать силы для нашего вдохновения. 1 марта 1919 г. Вл. Соловьев».*⁵

Вс. Мейерхольд нарисовал в альбоме портрет Мечтателя и написал:

*«О, Алконост!»⁶ Один из мечтателей бережет свои силы, чтоб как можно скорее дать хоть две странички своих записок самому энергичному из издателей – Самуилу Мироновичу Алянскому для задуманных Дневников. В. Мейерхольд. 1 марта 1919».*⁷

Всего в «Алконосте» Алянский выпустил около 50 книг, в том числе почти все послереволюционные произведения Александра Блока. Издание произведений великого русского поэта – самая главная заслуга Алянского перед русской литературой. А. Блок неоднократно бывал у Алянского в Толстовском Доме, также как и другие авторы «Алконоста»: Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Федор Сологуб, Алексей Ремизов, Константин Эрберг, Вильгельм Зоргенфрей, Михаил Гершензон, Анна Ахматова, Владимир Пяст.

В «Алконосте» у Алянского, в Толстовском Доме, неоднократно бывали и художники, оформлявшие издания «Алконоста»: Н. Куприянов, В. Замирайло, А. Головин, А. Лео, Ю. Анненков, с блестящими рисунками которого Алянский выпустил в 1918 году поэму А. Блока «Двенадцать».

В 1922 году С. М. Алянский выпустил в «Алконосте» сборник писателей под названием «Серапионовы братья».

29 января 1973 года С. М. Алянский послал видному критику и литературоведу В. Б. Шкловскому – одному из инициаторов издания «Серапионовых братьев», явившемуся к Алянскому в 1920 году в Толстовский Дом, приветственную телеграмму по случаю 80-летия со дня его рождения:

*«Двадцатый год. Вы явились ко мне, издателю “Алконоста”, с предложением издать сборник молодых писателей “Серапионовы братья”. Мое объяснение, в издательстве нет бумаги, вызвало Ваш гнев. Вы ударили кулаком по столу и крикнули: «Когда будете доставать бумагу для символистов, добудьте еще для “Серапионов”. “Алконост” добыл бумагу, правда, неважную, но первый сборник “Серапионов” напечатал».*⁸

Таким образом, многие выдающиеся русские поэты, прозаики, критики, художники и театральные деятели начала двадцатого века были С. М. Алянского в Толстовском Доме. И в этом непреходящее значение этого дома для истории великой русской культуры.

Примечания

¹ Об «Алконосте», существовавшем с 1918 по 1923 годы, и о жизни и деятельности С. М. Алянского см.: Белов С. В. Мастер книги: Очерк жизни и деятельности С. М. Алянского. Л., 1979

² Цит.: Чернов И. А. А. Блок и книгоиздательство «Алконост» // Блоковский сборник. Труды науч. конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока, май 1962 г. Тарту, 1964. С. 531. См. также: Алянский С. М. Встречи с Александром Блоком. [Изг. 2-е]. М., 1972. С. 92–93.

³ Личный архив С. М. Алянского.

⁴ Алянский С. М. Встречи с Александром Блоком. [Изг. 2-е]. М., 1972. С. 93.

⁵ Личный архив С. М. Алянского.

⁶ На издательской марке первой книги «Алконоста» поэмы А. Блока «Соловьиный сад» стояло «Альконост». Затем ошибка в написании была по указанию Вяч. Иванова исправлена, и все остальные книги вышли под маркой «Алконост».

⁷ Личный архив С. М. Алянского. К этому времени у А. Блока и Алянского зародился замысел выпускать журнал. Первоначально его предполагали назвать «Дневники мечтателей», а выходил он под названием «Записки мечтателей».

⁸ Личный архив С. М. Алянского.

Орлов В. Н. Вечеринка у С. М. Алянского 1 марта 1919 года

Источник: Орлов В. Н. Гамаюн. Жизнь Александра Блока.

* * *

«Первое марта 1919 года. Бесцветная прибалтийская весна.

В одной из тесных однокомнатных квартир знакомого всем коренным петербуржцам громадного дома графа Толстого на Троицкой улице собрались Александр Блок, Андрей Белый, Алексей Ремизов, Всеволод Мейерхольд, Иванов-Разумник, художники Юрий Анненков, Николай Радлов и Николай Купреянов, еще несколько человек. Случайно среди мужской компании оказалась единственная женщина – прелестная О. А. Глебова-Судейкина, драматическая актриса и танцовщица, в театральном, художественном и литературном мире известная как Олечка Судейкина. (Много лет спустя об этой «подруге поэтов» расскажет толстая французская книга.)

Хозяином квартиры был молодой человек Самуил Миронович Алянский, в просторечии – Алконост.

В июне 1918 года он по случайному делу пришел к Блоку и произвел впечатление самое приятное. Блок поддержал дерзкие издательские планы Алянского (у того не было ни гроша за душой и ни крупинки опыта) и для почина передал ему для издания поэму «Соловьиный сад». Через месяц вышла в свет маленькая изящная книжечка, с легкой руки Блока положившая начало издательству «Алконост», названному так по имени вещи русской птицы.

Вокруг издательства и предпринятого им альманаха «Записки мечтателей» объединились бывшие символисты (Белый, Иванов, Ремизов), здесь издавалась Ахматова, здесь вышел первый сборник молодых советских прозаиков, извлеченных из тьмы небытия Горьким, – «Серапионовы братья». (Блок просмотрел рукопись сборника и содержание его одобрил.)

«Алконост» просуществовал шесть лет и оставил заметный след в истории русской литературы – прежде всего потому, что выпустил почти все послереволюционные издания книг Блока, начиная с богато оформленной в альбомном формате, с рисунками Ю. Анненкова, поэмы «Двенадцать».

Блок вникал во все дела и обстоятельства «Алконоста», принимал близко к сердцу его успехи и затруднения, в сущности был его неофициальным главным редактором. А сам С. М. Алянский в последние годы жизни поэта стал особенно близким ему человеком, пользовался его безграничным доверием и, нужно сказать, оправдывал это доверие в полную меру своих сил и возможностей. Имя Алянского из биографии Александра Блока неустраимо.

«...Собрались у Алянского по случаю “юбилея”: “Алконосту” исполнилось девять месяцев. По тем суровым и трудным временам такой срок показался достаточным, – ждать до года было слишком долго.

Хозяин с величайшим трудом раздобыл три бутылки спирта и кое-какую еду. Гвоздем застолья был форшмак, изготовленный из воблы и мороженой картошки поваром Дома ученых, в недалеком прошлом – шефом знаменитой Виллы Родэ.

Гости поговорили о делах, поизощрялись в юбилейных тостах и при скудости закуски быстро захмелели. Петроград был на осадном положении, после определенного часа хождение по улицам без пропуска воспрещалось. Большинство гостей разошлось вовремя, несколько человек остались до утра. Устроились кто как, Блок задремал сидя у стола.

Среди ночи Алянского разбудил стук. За дверью стоял некто во всем кожаном и два вооруженных, опоясанных патронными лентами матроса.

– Есть посторонние?

– Да, есть. Мы праздновали день рождения, и тем, кто живет далеко, пришлось остаться. Вон там, у стола, дремлет Александр Блок... Говорите потише, не хочется его будить...

– Какой Блок? Тот самый?..

Комиссар перешел на шепот и поманил Алянского в коридор.

– А еще кто у вас остался? Почему не сообщили в домкомбед?

Алянский объяснил. Комиссар сказал, что на этот раз уж так и быть, обошлось, а вообще полагается сообщать, и хорошо, что он сам был с патрулем, иначе всех забрали бы.

Патруль удалился, но комиссар, пройдя несколько шагов, обернулся и спросил у Алянского строго, в тоне выговора:

– А Александра Блока, гражданин хороший, неужели не могли уложить где-нибудь?

Это был собственной персоной комендант Петроградского укрепленного района, известный большевик Д. Н. Авров. Имя его можно прочесть на одном из надгробий Марсова поля.

Утром разошлись и последние гости. На столе остался альбом, заведенный Алянским по случаю «юбилея». На первой странице Блок написал: «Дорогой Самуил Миронович. Сегодня весь день я думал об «Алконосте». Вы сами не знали, какое имя дали издательству. Будет «Алконост», и будет он в истории, потому что все, что начато в 1918 году, в истории будет...»



ИЗДАТЕЛЬСТВО „АЛКОНОСТЬ“

Эмблема издательства С. М. Алянского «Алконост» работы Ю. П. Анненкова

Анненков Ю. П. Вечеринка у С. М. Алянского в октябре 1919 года

Источник: Анненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. В 2-х т. Т. 1. Л.: Искусство, 1991.

* * *

Помню, как по поводу выпуска первого номера «Записок Мечтателей» Муля Алянский в начале октября 1919 года, устроил у себя на Троицкой улице вечеринку. Присутствовали Блок, Белый, голодный и страдающий одышкой Пяст, Зоргенфрей, кажется Иванов-Разумник, Оленька Глебова-Судейкина, еще человек пять...

Муля Алянский собственноручно состряпал громадный форшмак из мерзлой картошки лилового цвета; вместо селедки он размочил в воде вяленую воблу, мяса же не достал вовсе. Форшмак тем не менее удался на славу (последний форшмак, съеденный мною в России), хотя и вышел настолько соленым, что под него можно было выпить небольшое озеро. Муля Алянский «расшибся в госку» и выставил три бутылки аптечного спирта, который и заменил нам озеро, а также и быстро угасавшую печурку, называемую «буржуйкой». Произносились речи, читались стихи (стихи Белого были написаны на синей оберточной бумаге), потом говорили все разом, и наконец, случилось так, что почти все заночевали у Алянского, расположившись, не раздеваясь, кто где смог – в столовой на диване, на полу, на составленных стульях, а в спальней, отдельно – Оленька Глебова-Судейкина, на хозяйской кровати. Сон был крепок, от запретного спирта не осталось ни капли, и когда, ближе к утру, в сон ворвался стук, проснулись только Алянский и я, так как мы спали в ближайшей к входным дверям комнате. Мы сразу поняли, что двери придется отворить непременно.

– Братская могила! – сказал вошедший комиссар, бросая на стол портфель. – Открыли бы форточку, что ли... Документы в порядке?

Комиссар звенел, брэнчал и звякал, несмотря на отсутствие шпор и шашки (кобура не в счет, кобура – до ужаса молчаливая вещь). Комиссар звенел и брякал всем своим существом. Топтались милиционеры.

– Не шумите, товарищи, – произнес Алянский, – там спит Александр Блок.

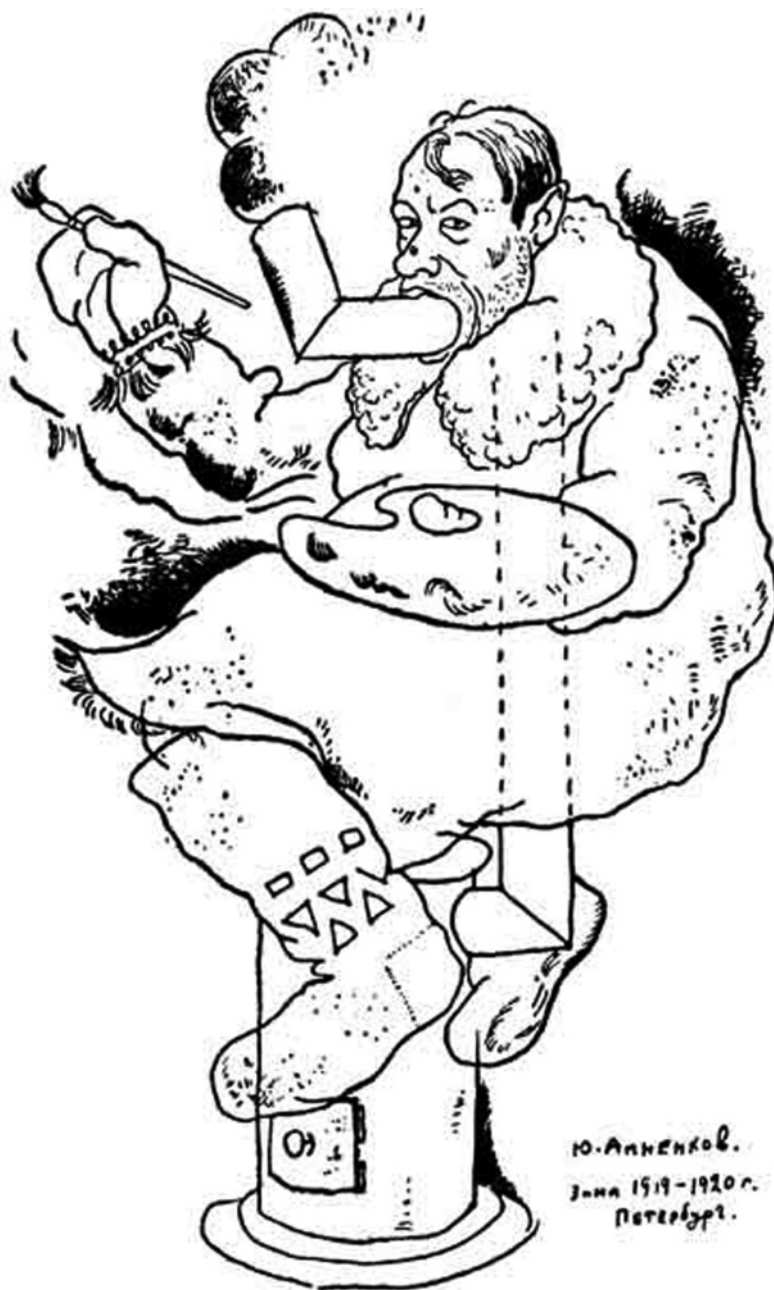
– Деталь! – ответил комиссар. – Который Блок, настоящий?

– Стопроцентный!

Комиссар осторожно заглянул в соседнюю комнату: – Этот?

Алянский кивнул головой. Комиссар взял со стола звенящий портфель, смял его, привел к молчанию и, шепнув Алянскому с улыбкой «хрен с вами!», вышел на цыпочках, увозя с собой милиционеров...

Откуда, из каких социальных слоев вышел этот устрашающий, «фатальный» ночной комиссар в кожанке? Знал ли он имя Блока только понаслышке, так же, как имя Максима Горького, встретив которого, несомненно, встал бы «во фронт»?



Или он слышал от соседки портнишки плаксивый рассказ о Катьке, сгоревшей при первой вспышке «мирового пожара»? Или, как и мы все, прочел он в последнем классе «городского училища» «Незнакомку»? Не гумаю... Его ржавые волосы, кожаная, казавшаяся клеенчатой фуражка и его снисходительная улыбка, смешанная с презрением (к «интеллигентам»), запомнились у меня до сих пор.

...В предутренний снегопад мы возвращались втроем: Блок, Белый и я. Блок в добротном тулупе, Белый – в чем-то, в тряпочках вокруг шеи, в тряпочках вокруг пояса. Невский проспект. Ложился снег на мостовую, на крылья Казанского собора, на зингеровский глобус ГИЗ'а. Блок уходил налево по Казанской, Белый продолжал путь к Адмиралтейству, к синему сумраку Александровского сада. На мосту, над каналом – пронзительный снежный ветер, снежный свист раннего утра, едва успевшего поглубеть. Широко расставив ноги, скучающий милиционер, с винтовкой через плечо, пробивал желтой мочой на голубом снегу автограф: «Вася».

– Чернил! – вскрикнул Белый, – хоть одну баночку чернил и какой-нибудь обрывок бумаги! Я не умею писать на снегу!

Седые локоны по ветру, сумасшедшие глаза на детском лице, тряпочки: худенький, продрогший памятник у чугунных перил над каналом.

– Проходи, проходи, гражданин, – пробурчал милиционер, застегивая прореху. Записки мечтателей...



Автопортрет Ю. П. Анненкова

И. В. Обухова-Зелинская

ЖУРНАЛИСТ ВЛАДИМИР АЗОВ – ЖИТЕЛЬ ТОЛСТОВСКОГО ДОМА

Владимир Александрович Азов (1873–1948) был соседом Аркадия Аверченко по Толстовскому Дому и жил в 204 квартире.

Этот известный журналист и чрезвычайно популярный юморист-сатирик давно и прочно забыт. Несмотря на то, что многие его юморески до сих пор смешат и не утратили актуальности, лишь считанные из них в последнее время появились в бумажных периодических изданиях или в Сети. Если в свое время скетчи и пьесы Азова шли в многочисленных театрах миниатюр по всей России, а над его шутками смеялись читатели российских газет и журналов, то после его отъезда за границу (видимо, в самом начале 1926 г.) они канули в небытие и до последнего времени на территории СССР не переиздавались. Вполне естественно, что никто из литературоведов творчеством Азова не занимался – пока оно остается не собранным, не учтенным, не изученным.

Такова была судьба огромного большинства русских литераторов-эмигрантов в советское время. Практически ничего из созданного ими в изгнании не просачивалось через кордон. Однако это положение изменилось уже более 20 лет назад. Россия с трудом и скрипом пробуждается от многолетней амнезии, «вспоминая» свое прошлое и пытаясь осознать настоящее. Увы, несмотря на успехи и бурное развитие различных направлений эмигрантоведения за последние 20 лет, творчество такого крупного писателя, как Азов, пока что не привлекло внимания. Вряд ли можно считать это случайностью. В такой же примерно «области тени» остаются многие коллеги Азова, петербургские журналисты предреволюционной эпохи. Именно они в первые годы советской власти вызвали ее особое раздражение и ненависть и как «приспешники буржуазии», и как «представители реакционной прессы» (вариант – «желтой прессы»). В начале 1919 года в Петрограде был учрежден Дом литераторов, основной целью и функцией которого стало спасение оставшихся в городе литераторов от голода. Ни у кого из них не было оснований любить советскую власть, державшую людей в тисках государственного террора и кошмарных бытовых условиях. Почти все прежние издания были закрыты, царил дефицит бумаги. Из литераторов мало кто решался на открытое сопротивление, но, поневоле собранные вместе, они образовали определенный оазис явного несогласия с новой властью. Впоследствии те из них, кто выжил и оказался за рубежом, сыграли самую активную роль в

организации многочисленных периодических изданий и, таким образом, в сплочении и объединении «русского рассеянья» в некое духовное целое.

Владимир Азов активно участвовал во всех этих процессах. Поэтому стоит вспомнить о нем не только для того, чтобы еще раз посмеяться над остроумными шуткам, но и проследить по мере возможности жизненный путь этого талантливого человека.

В старом Петербурге-Петрограде

Вспоминая о днях своей далекой молодости и начале артистической карьеры, известный конферансье и артист эстрады, а затем также режиссер и драматург А. Г. Алексеев, писал:

«14 января 1916 года мои гастроли в "Литейном театре" закончились. Прессу я имел в общем неплохую, за исключением рецензии в "Вечерних биржевых ведомостях", очень распространенной газете. [...] Прошел год. Я уже был своим человеком в петроградских театральных и писательских кругах. Жил у известного журналиста Владимира Александровича Азова, с которым подружился в первые же дни приезда в Петроград. Рядом, дверь в дверь, жил Аркадий Аверченко, очаровательный собеседник в своей компании, но угрюмый и молчаливый в незнакомом обществе. Бывали у нас Аркадий Бухов, Василий Регинин и другие сотрудники "Сатирикона", "Синего Журнала", "Аргуса"»¹.

Об Аверченко, жителе Толстовского Дома, уже был опубликован небольшой очерк², в котором упоминается и Азов. Его фельетоны и скетчи пользовались в то время огромной популярностью. В Петербурге они публиковались во многих периодических изданиях, а пьесы расхватавались театрами миниатюр, шли в «Кривом зеркале» и расходились по провинции.

Родился Владимир Ашкенази (это его настоящая фамилия) в Керчи, в семье врача, гимназию закончил в Петербурге, после чего, подобно многим молодым людям того времени, отправился за границу, где слушал лекции в университетах Парижа, Цюриха и Берна, хотя высшего образования так и не закончил. Однако годы учебы не прошли даром, поскольку в Россию Азов вернулся с хорошим знанием европейских языков, что не раз выручало его в дальнейшем.

Публиковаться он начал в Одессе, но в качестве его дебюта часто указывается московская газета «Новости дня», где печатались его фельетоны, подписанные псевдонимом *Лэк*. Очень быстро начинающий сатирик стал писать для таких газет, как «Русские Ведомости» и «Русское Слово» (петербургское отделение этой богатейшей газеты возглавлял тогда А.В. Руманов). Псевдоним Азов появился под публикациями только что основанной (в 1905 г.) кадетами газеты «Речь», где уже небезызвестный журналист зарекомендовал себя остроумными беседами на злобу дня и театральными рецензиями.

В 1906 г. Азов предпринял выпуск журнала «Благой мат», запрещенный с первого же номера за статью «Как я убил Плева». Е. Сазонова. С 1908 г. он постоянно жил в Петербурге. С 1910 г. начал сотрудничать с журналом «Сатирикон», где уже складывалась компания завзятых юмористов под предводительством неслыханно популярного тогда Аверченко. Там Азов познакомился с Тэффи, Аркадием Буховым, Сашей Черным, Осипом Дымовым, художником Радаковым и другими «сатириконцами». Впрочем, с некоторыми из них он наверняка был знаком и раньше. В 1911 году разгорелся конфликт между сотрудниками этого журнала и его издателем М. Корнфельдом. В результате вся команда (в том числе и Азов) под предводительством Аверченко ушла, основав журнал «Новый Сатирикон».



Портрет В. А. Азова
работы Ю. П. Анненкова

В том же 1911 году открылся Троицкий (по названию улицы) «Театр миниатюр», ставший одним из наиболее известных среди почти 100 петербургских театров этого жанра. Самыми репертуарными авторами этих театров были «сатириконцы» Тэффи, Аверченко, Азов. Возможно, что и в Толстовском Доме, в двух шагах от Троицкого театра, эти два юмориста поселились не случайно. Не приходится сомневаться, что в их квартирах бывали все упомянутые коллеги-журналисты, а также названный Алексеевым Василий Регинин. Он также был личностью достопримечательной. Начиная свою журналистскую карьеру в Одессе, фельетонистом, в описываемое время был редактором корнфельдовского «Синего журнала», а также широко читаемых «Аргуса» и «Хочу все знать». Изобретательный Регинин подбирал интересных авторов, у него был особый талант общения (Паустовский, знавший его уже в советское время, говорил, что у Регинина дар «дружить со знаменитостями»). Но он умел также привлечь художников, и поэтому графическое оформление и иллюстрации в его журналах отличались высоким уровнем (это признавал даже критически настроенный Паустовский).

Что касается Азова, то к началу революции он стал не только известным журналистом, но и автором сборника рассказов «Цветные стекла».

При советской власти

После революции наступают радикальные перемены во всех областях жизни. В июле 1918 года «Новый Сатирикон», как и многие другие издания, был закрыт большевиками. Аверченко выехал из Петрограда. С июля 1919 года он работал в газете «Юг» (впоследствии «Юг России»), агитируя за помощь Добровольческой армии. Между тем, в Петрограде в августе 1918 года декретом новой власти были закрыты вообще все «буржуазные» издания. На плаву остался почему-то только «Петербургский листок», который раньше читали швейцары да дворники, а теперь в нем вдруг начали публиковаться самые именитые авторы вроде Мережковского или Амфитеатрова, который спустя 4 года, уже живя за границей, вспоминал:

«Вся независимая петроградская литература оказалась в беспримерно-ужасной обреченности, и ужас рос со дня на день, из часа в час все свирепее, все острее. Организации литературной взаимопомощи никогда не были сильны в России, а Октябрьская революция уж и вовсе их придушила. Правительство откровенно и систематически вгоняло нас в гроб⁴».

В этой ситуации особое значение для голодающих писателей приобрел созданный еще до революции кооператив при Союзе журналистов, преобразованный в Дом литераторов:

«Союз журналистов, конечно, не мог надолго пережить гибель периодической печати; уже осенью 1918 года дни его, как клуба вымершего сословия, были сочтены. Не помню точно, когда он покончил свое существование. Однако еще в конце декабря его представители А. Е. Кауфман, А. М. Клячко и Б. О. Харитон принимали энергичное и даже властное участие в организации торжественных похорон одного из величайших мыслителей и героев старой русской народофильской революции, знаменитого шлиссельбуржца Германа Александровича Лопатина. <...> Спасти Союз было невозможно, однако он не умер, но только обмер и после недолгой летаргии воскрес в весьма измененном, но отнюдь не ухудшенном и, напротив, даже расширенном и усовершенствованном виде Дома литераторов⁵».

Благодаря энергии тех же членов-основателей – Кауфмана, Клячко, Харитона, Волковысского⁶, был выхлопотан и занят большой опустелый барский особняк с садом, на Бассейной улице, 11, в самом центре города. Главной своей задачей правление (членом которого был и Азов) Дома литераторов считало спасение оставшихся в Петрограде людей пера от голодной смерти. В его столовой кормились около 500 человек. Сам Азов, живший недалеко от Литейного и Бассейной, тоже регулярно приходил туда, чтобы получить скудный, но спасительный обед – какое-то время для многих людей его профессии он был единственным источником питания.

Дом Литераторов пришел на помощь своим членам и тогда, когда вышел декрет, воспрещавший частным лицам иметь библиотеки свыше 500 томов. Правда, поглощенная иными делами советская власть не придавала ему первостепенной важности и со временем пустила дело на самотек, но некоторые из запуганных арестами и расстрелами интеллектуалов решили от греха подальше сдать часть своих книг. Кроме того, оставались бесхозными книги уехавших за границу или на юг страны. Начало библиотеке Дома литераторов положило собрание А. В. Руманова, в недавнем прошлом одного из заправил «четвертой власти». Он жил на последнем этаже роскошного дома на Морской. В этой квартире проходили музыкальные вечера (его жена была превосходной пианисткой-исполнительницей) и собирались литераторы. В конце 1918 года Румановы покинули Россию, оставив в квартире не только книги, но и ценнейшую коллекцию предметов искусства. Часть коллекции была передана в Эрмитаж и другие музеи, а книги взял в свою только что организованную библиотеку Дом литераторов. Заниматься делами библиотеки Дома Литераторов стал молодой журналист, коллега и приятель Азова по работе в «Речи» – В. Я. Ирецкий⁸. К июлю 1921 года в ней насчитывалось до 30 000 томов.

В Доме Литераторов также регулярно проводились литературные вечера, постепенно привлекавшие все больше публики. Воспользуемся еще раз свидетельством А. Амфитеатрова:

«К участию в них <вечерах> были приглашены решительно все выдающиеся писатели Петрограда, исключая лишь явно примкнувших к «торжеству победителей». Читались исключительно новые, ненапечатанные произведения. Начали лекциями историческими, философско-критическими, мемуарными; потом ввели поэзию, потом беллетристику, потом популяризацию новейших открытий. Наконец, известный историк Е. В. Тарле стал читать с блестящим успехом лекции уже чисто публицистического содержания, обзоры современного политического положения Германии, Англии и других европейских государств. <...> Другим излюбленным лектором Дома литераторов надо назвать маститого юриста, академика и сенатора А.Ф. Кони, справедливо почитаемого самым значительным русским оратором и блестящим писателем-стилистом тургеневской школы. <...>

Литературные вечера Дома начались редкими бесплатными выступлениями со свободным входом, приноровленными к каким-либо достопамятным литературным датам. Но огромный прилив публики обратил их очень скоро в постоянное учреждение, которое работало ежедневно и еще должно было открыть вспомогательное отделение – в Физической аудитории университета. Введена была платность, возраставшая в цифрах пропорционально падению советского курса, что несколько не влияло на посещаемость вечеров⁹».

Дом Литераторов, в отличие Дома искусств¹⁰ на Невском, считался

рассадником контрреволюции. Однако его терпели, поскольку иначе питавшиеся там более 500 бывших литераторов стали бы дополнительной обузой для власти. Трагической вехой для петроградской интеллигенции стал август 1921 года. В начале месяца был арестован Гумилев, 7-го августа умер Блок, на похороны которого 10-го августа собралось огромное количество людей. В августе из Петрограда почти тайно выехал А. Ремизов с женой. Амфитеатрову так и не удалось получить у Луначарского какой-нибудь литературной командировки, и он с семьей бежал в Финляндию нелегально. Ровно через год, в августе 1922 г. И. С. Уншлихт писал Сталину:

«...Всем домом <литераторов> руководят бывш<ие> хроникеры-биржевики <сотрудники газеты «Биржевые ведомости»>. Они ничего не писали и не пишут. Злые враги Советской власти, но хитрые и ловкие. Если их убрать, можно было бы подорвать то ядро, которое проводит позицию против нас¹¹».

Вскоре большинство членов правления в числе иных «вредных элементов» из интеллигенции были высланы из страны в рамках печально известной отправки в Берлин на «философских пароходах». Харитон и Волковысский переехали в Ригу и стали сотрудниками газеты «Сегодня». Ирцкий, будущий корреспондент Азова, остался в Берлине. Он активно участвовал в создании «Союза русских журналистов и писателей», вступил в «Союз немецких писателей и композиторов», «Немецко-русское товарищество» и др. Поддерживал связи с русскими издательствами Парижа и Берлина. Печатался во многих эмигрантских газетах и журналах («Звено», «Возрождение», «Дни», «Руль», «Сегодня» и др.).

В ноябре 1922 года Дом Литераторов был закрыт. Но к этому времени уже сформировались какие-то советские учреждения и органы печати. Спасением для многих литераторов было издательство «Всемирная литература», открытое в 1919 г. при Наркомпросе по инициативе М. Горького, носившегося с вполне утопическим проектом – перевести и издать на русском языке все лучшие произведения мировой литературы. Именно для этого издательства Азов переводил произведения многих англоязычных писателей: О. Генри, Дж. Конрада, Г. Уэллса, Л. Кэрролла.

Азов продолжал жить в той же квартире Толстовского Дома и, в духе времени, по-видимому, даже был какое-то время председателем домкома. Благодаря этому обстоятельству он стал участником, в общем, пустякового, но забавного случая, постепенно обросшего легендарными подробностями. В том же доме жил Самуил Алянский – основатель издательства «Алконост», выпустившего поэму А. Блока «Двенадцать» с рисунками Ю. Анненкова. В начале сентября 1919 года Алянский созвал друзей издательства, чтобы отметить выход журнала «Записки мечтателей». Это были суровые времена военного коммунизма, в городе – комендантский час, но Алянский приготовил царское угощение: форшмак из мороженой картошки и лиловой воблы, и раздобыл три бутылки спирта. Не успевшие вовремя уйти гости остались до утра у Алянского. Ночью пришел патруль, проверявший наличие

посторонних в квартирах. Благодаря присутствию Азова все закончилось благополучно: он знал всех загулявших у Алянского и подтвердил, что человек, спящий сидя за столом – поэт Блок, автор знаменитой поэмы. Уходя, грозный начальник патруля упрекнул хозяина, как же это он Блоку-то не нашел места, чтобы прилечь. Об этом случае упоминает в дневнике К. Чуковский, слышавший о происшествии от самого поэта. Спустя более 40 лет этот эпизод красочно и подробно, хотя и не точно описали в воспоминаниях Ю. Анненков и С. Алянский. На участие в этом эпизоде Азова указывает только Чуковский, но именно эта версия, отраженная по свежим следам в дневнике писателя, вероятно, ближе всего к реальности. Азов также был членом правления Дома литераторов, но в 1922 г. его, тем не менее, не выслали. Он оставался в Петрограде-Ленинграде до конца 1925 г.

В эмиграции

После отъезда из Ленинграда Азов до конца жизни жил во Франции. С Толстовским Домом, где он прожил около 10 бурных лет, пришедшихся на слом эпохи, его уже ничто не связывало. В эмиграции он не терял связи со своими давними друзьями – обнаруженные в архивах немногочисленные письма к ним являются одним из основных источников, позволяющих реконструировать этот период жизни Азова и уточнить некоторые даты, поскольку в справочниках они либо не указываются вообще, либо даны неверно. До последнего времени не была установлена даже точная дата смерти писателя.

Дату отъезда из Ленинграда позволяет уточнить письмо Азова, отправленное из Парижа в Берлин его приятелю В. Ирецкому. Девятого сентября 1926 года Азов ему сообщал:

«Дорогой Виктор! Скоро четыре месяца, как мы виделись с вами, а воды утекло за это время очень мало. Я пробыл до конца июня в довольно противном Париже, а потом (несчастье на мою голову!) уехал в паршивый и вонючий Биарриц и там заболел печенью. Провалился три недели в постели и вернулся в Париж выпотрошенный, слабый, с разбитыми нервами. Сейчас еще сижу на диете и кушаю зелень и кашку».

В отличие от Ирецкого, Азов тогда еще избегал печататься в эмигрантских изданиях, потому что в России у него оставались близкие люди, он боялся им повредить, но, возможно, и себе пока что не хотел отрезать дороги назад – в 1920-е годы у писателей еще были возможности не только выехать из России, но и вернуться, хотя с каждым годом их становилось все меньше. Как бы то ни было, Азов лелеет план: жить во Франции, публиковать рецензии на выходящие в Германии и во Франции новинки литературы, а также заниматься переводами западных писателей на русский язык. Он уже налаживает контакт с Госиздатом и хочет привлечь к этой работе также Ирецкого. Однако по следующему письму Ирецкому мы понимаем, что все оказалось не так просто:

«...С вашими немецкими рецензиями вышел камуфлет, и я получил от Горлина головной болью. Стефана Цвейга "Смятение чувств" вышло уже на русском языке в издательстве "Время". "Последний вагон" Франка тоже где-то выходит, а Манн отклонен Госиздатом уже более месяца от получения нашей рецензии. В результате мне приказ: немецких рецензий больше не слать, ибо у них в Берлине имеется рецензент – и более проворный. Надеюсь, что это вас не очень огорчит, ибо вы ведь и надежд не возлагали.

У меня с Госиздатом тоже не заладилось. Они заказали мне: один перевод ("Jubilier" бельгийца Бикельманса), но условия договора предложены такие, что я, скрпя сердцем и прочими органами, должен был отказаться...»

Ирецкому Азов в том же письме дает полушутливый совет:

«...Сделайтесь американским или немецким писателем – вот что я вам говорю. Переводитесь в рукописи! Иначе игра еще не стоит свеч...»

Из дальнейшей переписки видно, что контакты с Госиздатом невозможны не только по причине более проворной конкуренции. Это было внове, потому что до революции даже политические эмигранты могли печататься в российской периодике, например, под псевдонимом. Азову пришлось искать заработки на месте, и он занялся интенсивным литературным творчеством. Под конец следующего года (в письме от 23.11.1927 года) он писал Ирецкому:

«Я проживаю в Нишце. Здесь для нашего брата-инвалида гражданской войны – самое подходящее место. Жизнь дешевая – вполовину дешевле, чем в Париже, и не развращающая. И иностранчества своего не чувствуешь: здесь все иностранцы.

С Россией у меня ни черта не вышло. Я перевел для Госиздата и для "Прибоя" 5 (!) книг, трудился всю зиму в Париже, как лошадь. В результате Лена успела получить из Госиздата рублей 700, а потом явился фининспектор и за какие-то недоплаченные мною налоги наложил арест на гонорары Госиздата (одной пени насчитав больше 800 р.!). Так Лена перестала получать. "Прибой" заплатил 200 р., а потом стал ликвидироваться и не платит».

В том же письме Азов сообщает:

«И не знаю, знаете ли вы Н.Ф. Давыдову – мою большую приятельницу? Она тоже занимается из Парижа переводами, и ей хвост еще не подмяли, потому что она работает вместе со своей матерью, которая живет в Питере (Т. О. Зейлигер)».

Знакомство с Давыдовой оказалось судьбоносным. По письму Азова Н. Н. Евреинову видно, что события в его жизни развивались довольно стремительно – через три месяца он уже женат на Н. Ф. Давыдовой и живет в Париже, который из «противного» сразу превратился в «милый».

«21.02.1928

Дорогой Николай Николаевич,

Из дальних странствий возвратясь, с наслаждением окунулся в милый Париж. Мы с вами, оказываемся, соседи, – во всяком случае, одноарондисманцы. Между прочим, я женился.

Очень хотелось бы повидать вас и милую Анну Александровну. Как сделать? Не придете ли Вы к нам чай пить в любое апрэмиди <после полудня>.

Примерно в то же время Азов писал в письме давнему приятелю Василию Регинину, из которого следует, что он вошел уже по-родственному в налаженный переводческий кооператив, поскольку в письме речь опять идет о переводах:

«Дорогой Василий Александрович,

Книга рассказов Бирса выйdet весной, так что вы успеете напечатать посланные вам рассказы в январе или феврале, но не позже.

Заметку о Бирсе прилагаю, как все это сложно, Вася, милый!

Ваш Азов.

Р. С. Мне кажется, что рассказ Бирса “Человек и змея” был напечатан как-то в “Аргусе”? Не помните ли? Мне было бы интересно узнать, для библиографии Бирса».

А. Регинин после революции тоже покинул Петроград и какое-то время жил в Одессе. Там он, к возмущению Бунина, начал сотрудничать с советской властью. В отличие от многих своих приятелей и коллег он не поехал за границу, а после окончания Гражданской войны приехал в Москву, где стал редактором журнала «30 дней». Именно ему мы должны быть благодарны за публикацию бессмертного романа «Двенадцать стульев» никому не известных до той поры авторов. Обстоятельства публикации были не так просты, как это представлено в их якобы простодушном рассказе о задании, которое дал двум юным журналистам опытный литературный мэтр «Старик Саббакин» (Валентин Катаев). Но все удалось благодаря бесстрашию и точному расчету Регинина (очевидно, что каких-нибудь полгода спустя, в изменившейся политической обстановке, роман не мог быть допущен к печати даже в урезанном виде).

1929-й год был, в сущности, последним, когда еще в СССР действовали какие-то реликты нормально устроенной литературной жизни. Рубеж 1920–30-х годов, на который пришелся сталинский «большой поворот» (коллективизация с раскулачиванием и индустриализация силами лагерников), изменил лицо страны радикальнее, чем даже Октябрьская революция. Железный занавес разделил эмиграцию и метрополию. Это помогло Азову, после затянувшегося периода «скитаний» и поисков источников заработка, уже осознанно адаптироваться в эмигрантском сообществе. С этого времени он становится активным участником жизни литературного зарубежья. На эмигрантском материале он написал веселый роман «Не бывать бы счастьем, да несчастье помогло», повесть «Подарок молодым хозяйкам» и юмористические рассказы, публиковавшиеся в «Иллюстрированной России» и возродившемся ненадолго в 1931 году парижском «Сатириконе». В этом журнале опять собрались тогда уцелевшие и осевшие в Париже ветераны дореволюционного издания (включая его бессменного издателя М. Корнфельда).

В переписке с Ирещиком у Азова наступил перерыв на 7 лет – о своей женитьбе он сообщил приятелю лишь в 1934 году в ответ на письмо от 29.11.1933 года.

По этому письму видно, что в его творчестве наметился особый поворот, связанный с предложением экранизации (в эмигрантской терминологии – «офильмования») одной из его пьес. Это был довольно распространенный путь, на который пытались вступить различные авторы-эмигранты. Правда, кино интересовало их не столько своими новыми художественными возможностями (в них как раз многие быстро разочаровались), сколько несравнимыми с иным литературным трудом гонорарами. В письме Азов сообщает, что «у него на верстаке» уже есть два сценария, а в приложении высылает Ирецкому доверенность. Осталось выяснить, удалось ли Азову экранизировать пьесу и состоялся ли его «роман с кино». Опубликованная недавно юмореска Азова позволяет предполагать, что его знакомство с кинопроцессом было не только теоретическим.

О дальнейшей жизни Азова в эмиграции известно еще меньше. Неизвестно, где он был во время немецкой оккупации. Однако по его автографам летом 1946-го года в альбоме еще одного старого петербуржца-журналиста Аркадия Руманова видно, что, по крайней мере, в это время Азов был в Париже. Руманов после войны неожиданно для многих стал активным «советизаном». Будучи ответственным секретарем издававшейся на советские деньги газеты «Советский патриот», играл роль «загонщика эмигрантских писателей в советский патриотизм». Как раз летом 1946 г. он вместе со второй женой устроил у себя дома прием в честь приехавших из СССР писателей К. Симонова и И. Эренбурга. Но Азова, судя по воспоминаниям участников, на этой встрече не было. В 1948 году он скончался.

Примечания

¹ Алексеев А. Г. Серьезное и смешное. Полвека в театре и на эстраде. М., 1972. С. 57.

² Колотило М. Н. Толстовский Дом. Созвездие имен. СПб., 2011. С. 53.

³ [Б.п.] Записки сценариста // Интернет-ресурс: <http://gleza.livejournal.com/396072.html> (справка от 02.06.2012).

⁴ Амфитеатров А. В. Дом Литераторов в Петрограде 1919–1921 годов // За свободу! (Варшава) 1922. 1, 6, 9 апреля.

⁵ Там же.

⁶ Члены правления Дома Литераторов:

Кауфман Абрам Евгеньевич (1855–1921) – журналист, публиковавшийся в разнообразных газетах и журналах, в т.ч. в «Биржевых новостях», с 1919 года издавал и редактировал журнал «Вестник литературы» с отделом «Летопись Дома литераторов»;

Клячко-Львов Лев Моисеевич (1873–1934) – журналист, владелец издательства «Радуга»;

Харитон Борис Иосифович (1887– 1941, погиб в советском лагере) – публицист;

Волковисский Николай Моисеевич (1881– после 1940) – известный петербургский журналист, с 1902 года сотрудничал с газетами «Санкт-Петербургские ведомости», «Новости» (покинул газету в 1905 году по политическим причинам), «Биржевые ведомости», «Слово», «Утро России», «Русская молва», «Рассвет» и др.;

⁷ Яковлева Е. П. Художественное собрание А. В. и Е. Л. Румановых как источник музейных поступлений // Материалы VI Боголюбовских чтений. – Саратов, 1999.

⁸Ирецкий Виктор Яковлевич (1882–1936) – с 1906 публиковался как автор рассказов, статей, очерков, рецензий и пр. в таких периодических изданиях, как «Речь», «Современный мир», «Вестник Европы», «Солнце России» и др. Издал сборник рассказов «Гравюры» (на исторические темы). В 1910 году Московским Обществом любителей русской словесности ему была присуждена Гоголевская премия.

⁹*Амфитеатров А. В. Op.cit.*

¹⁰Дом искусств был открыт в особняке на наб. Мойки 19 ноября 1919 г. по инициативе К. И. Чуковского и А. Н. Тихонова (при поддержке М. Горького). В его Совет, помимо организаторов, вошли А. Ахматова, Ю. Анненков, А. Вольнский, М. Добужинский, Е. Замятин, К. Петров-Водкин, В. Шуко и др.

¹¹Препроводительная записка И. С. Уншлихта И. В. Сталину с приложением протокола заседания Комиссии Политбюро ЦК РКП(б) и списков деятелей интеллигенции, подлежащих высылке 2 августа 1922 г. (Интернет-ресурс: http://www.hrono.ru/dokum/192_dok/19220802unsh.html ; справка от 02.06.2012).

¹²Запись в дневнике К. Чуковского от 04.09.1919: «Третьего дня Блок рассказал, как он с кем-то в Алконосте запьянствовал, засиделся, и их чуть не заарестовали: почему сидите в чужой квартире после 12 час. Ваши паспорта?.. Я должен вас задержать... К счастью, председателем домового комитета оказался Азов. Он заявил арестовывающему: да ведь это известный поэт Ал. Блок. – И отпустили. (Из дневника К. И. Чуковского. Публ. Е. Чуковской // Блок А. Новые материалы и исследования. М., 1981. Кн. 2. С. 247.)

¹³*Анненков Ю.* Дневник моих встреч. Нью-Йорк, 1966. Т. 1. С.75–78.

¹⁴*Алянский С.* Встречи с Блоком (из записок издателя) // Новый мир 1967, № 6. С. 183–186.

¹⁵Во многих справочниках указывается 1928 г. по дате первой зарубежной публикации Азова в журнале «Иллюстрированная Россия».

¹⁶Полностью письма цитируются в статье: Обухова-Зелинская И.В. Владимир Азов: Петроград – Париж – Берлин (по переписке с грузьями 1926–1934 гг.) // Материалы XIX конференции по судакке (в печати).

¹⁷Возможно, речь идет о книге: Бирс А. Настоящее чудовище. – Л., 1926.

¹⁸Азов А. «Запрягу я тройку борзых!..» // Экспресс. № 233, 3.12.2004 (впервые опубликован в «Иллюстрированной России»).

¹⁹Руманов Аркадий Вениаминович (1878–1960) – после выезда из России в конце 1918 года в 1919 году находился в Лондоне как представитель Политического совещания при генерале Н. Юдениче; член Лондонского комитета освобождения России. С 1920 – во Франции; компаньон и секретарь вел. Кн. Александра Михайловича; член Союза русских писателей и журналистов в Париже. Читал лекции о французской культуре, сотрудничал в разных эмигрантских изданиях, основал и возглавил журнал «Сипйа» и литературное агентство «Selection». Собрал большую художественную коллекцию, большая часть которой пропала во время войны.

²⁰См.: Обухова-Зелинская И. В. Газета «Советский патриот» – сладкоголосая сирена возвращенчества, или Дудка гамельнского крысолова // Нансеновские чтения 2009 / Научный ред. М. Толстой. Санкт-Петербург, 2010. С. 276–292.

²¹*Гузевич Д., Гузевич И.* Российская эмиграция во Франции в 1940-е годы или Почему Париж не возродился как столица российского изгнания // Закат российской эмиграции во Франции в 1940-е годы. История и память / под общей ред. М. Якунина. – Париж-Новосибирск, 2012. С. 196.

М. М. Зощенко

СЛУЧАЙ В ПРОВИНЦИИ

*(Поездка с жителем Толстовского Дома
поэтом Дмитрием Цензором)*

Многое я перепробовал в своей жизни, а вот циркачом никогда не был. И только однажды публика меня приняла за циркача-трансформатора. Не знаю, как сейчас, а раньше ездили по России такие специалисты-трансформаторы. Они, скажем, выходили на эстраду, почтительнейше раскланивались с публикой, затем, убравшись на одно мгновение за кулисы, снова появлялись, но уже в другом костюме, с другим голосом и в другой роли.

Вот за такого трансформатора однажды меня и приняли.

Это было в революцию, в двадцатом или двадцать первом году.

Хлеб был тогда чрезвычайно дорог.

За фунт хлеба в Питере запрашивали два полотенца, три простыни или трехрядную гармонь.

А потому однажды осенью поэт-имажинист Николай Иванов, пианистка Маруся Грекова, я и лирический поэт Дмитрий Цензор выехали из Питера в поисках более легкого хлеба.

Мы решили объехать с пестрой музыкально-литературной программой ряд южных советских городов.

Мы ехали своим «чистым искусством» заработать кусок ржаного солдатского хлеба.

И в конце сентября, снабженные всякими мандатами и документами, мы выехали из Питера в теплушке, взяв направление на юго-восток.

Ехали долго.

В дороге подробно распределили свои роли и продумали программу.

Решено было так. Первым номером выступает пианистка Маруся с легкими музыкальными вещицами. Она дает, так сказать, верный художественный тон всему нашему вечеру. Вторым номером – имажинист. Он вроде как усложняет нашу программу, давая понять своими стихами, что искусство не всегда доступно народу.

Засим я – с юмористическими рассказами. И наконец лирический поэт Дмитрий Цензор. Он, так сказать, лаком покрывает всю нашу программу. Он создает впечатление легкого, тонкого вечера.



Поэт Дмитрий Цензор

Программа была составлена замечательно.

– Товарищи! – говорил имажинист. – Мы первые в Советской России на верном пути. Мы сознательно снижаемся до масс, мы внедряемся в самую гущу. Этой программой мы докажем, что чистое искусство не пропадет. За нами стоит народ.

Пианистка Маруся молча слушала и, для практики, пальчиками на своих коленях разыгрывала какой-то сложный мотив.

Я покуривал махорку с чаем и печально сплевывал на пол зеленую едкую слюну.

А поэт Дмитрий Цензор говорил мечтательно:

– Чистое искусство народу необходимо... Нам понесут теплые гушистые караваи хлеба, цветы, вареные яйца... Денег мы не возьмем. На черта нам сдались деньги, если на них ничего сейчас не купишь...

Наконец, двадцать девятого числа мы приехали в небольшой провинциальный дождливый город.

На станции нас приветливо встретил агент уголовного розыска. Он долго и внимательно читал наши мандаты, потом взял под козырек, шутиво приветствуя этим русскую литературу.

Он нам по секрету сообщил, что он и сам из интеллигентных слоев, и что он в свое время окончил два класса местной женской прогимназии, и что поэтому он и сам не прочь между двумя протоколами побаловаться чистым искусством.

На наш литературный вечер он обещал непременно прибыть.

Мы остановились у Марусиных знакомых.

Первые дни прошли в необыкновенных хлопотах и в беготне.

Нужно было достать разрешение, получить зал, осветить его и сговориться с устроителем.

Устроитель был тонкий и ловкий человек. Он категорически уперся на своем, говоря, что чистая поэзия вряд ли будет доступна провинциальной публике, и поэтому необходимо разжижить нашу программу более понятными номерами – музыкой, пением и цирком.

Это, конечно, очень портило нашу программу. Однако спорить мы не стали – иного выхода не было.

Вечер был назначен на завтра в бывшем купеческом клубе.

Тридцатого сентября, в восемь часов вечера, мы, взволнованные, сидели за кулисами в специально отведенной для нас уборной.

Зал был набит до последнего предела.

Человек сто красноармейцев, множество домашних хозяек, городских девиц, служащих и людей всевозможных свободных профессий ожидали с нетерпением начала программы, похлопывая в ладоши и требуя поднятия занавеса.

Первым, как помню, выступило музыкальное трио. Затем жонглер и эксцентрик. Успех у него был потрясающий. Публика ревела, гремела и вызывала его бесконечно.

Затем шли наши номера.

Маруся Грекова вышла на эстраду в глухом черном платье.

Когда Маруся появилась на сцене, в публике произошло какое-то неясное волнение. Публика приподнималась со своих мест и смотрела на пианистку. Многие хохотали.

Маруся с некоторой тревогой села за рояль и, сыграв короткую вещьцу, остановилась, ожидая одобрения. Однако одобрения не последовало.

В страшном смущении, без единого хлопка, Маруся удалилась за кулисы.

За ней почти немедленно выступил имажинист.

Гром аплодисментов, крики и одобрителный гул не смолкали долго.

Польщенный таким вниманием и известностью даже в небольшом провинциальном городе, имажинист низко раскланялся, почтительно прижимая руку к сердцу.

Он прочел какие-то ядовитые, но неясные стишки и ушел в сильном душевном сомнении – аплодисментов опять-таки не было.

Буквально не было ни единого хлопка.

Третьим, сильно напуганный, выступил я.

Еще более длительные, радостные крики раздались при моем появлении.

Задняя публика вставала на скамейки, напирала на впереди сидящих и рассматривала меня, как какое-то морское чудо.

– Ловко! – кричал кто-то. – Ловко, братцы, запущено!

– Ах, сволочь! – визгливо кричал кто-то с видимым восхищением.

Я, в сильном страхе, боясь за свою судьбу и еле произнося слова, начал лепетать свой рассказ.

Публика терпеливо слушала мой лепет и даже погбадривала меня отдельными выкриками:

– Ах, сволочь, едят его мухи!

– Крой! Валяй! Дави! Ходи веселей!

Пролепетав рассказ почти до конца, я удалился, с трудом передвигая ноги. Аплодисментов, как и в те разы, не было. Только какой-то высокий красноармеец встал и сказал:

– Ах, сволочь! Идет-то как! Гляди, братцы, как переступает нарочно.

Последним должен был выступить лирический поэт.

Он долго не хотел выступать. Он почти плакал в голос и ссылался на боли в нижней части живота. Он говорил, что он только вчера приехал из Питера, не осмотрелся еще в этом городе и не свылся с такой аудиторией.

Поэт буквально ревел белугой и цеплялся руками за кулисы, однако дружным натиском мы выперли его на сцену.

Дикие аплодисменты, гогот, восхищенная брань – потрясли все зало.

Публика восторженно гикала и редела.

Часть публики ринулась к сцене и с диким любопытством рассматривала лирического поэта.

Поэт обомлел, прислонился к роялю и, не сказав ни одного слова, простоял так минут пять. Затем качнулся, открыл рот и, почти неживой, вполз обратно за кулисы.

Аплодисменты долго не смолкали. Кто-то настойчиво бил пятками в пол. Кто-то неустово требовал повторения.

Мы, совершенно потрясенные, забились в своей уборной и сидели, прислушиваясь к публике.

Наш устроитель ходил вокруг нас, с испугом поглядывая на наши поникшие фигуры.

Имажинист, скорбно сжав губы, в страшной растерянности сидел на диване, потом откинул свои волосы назад и твердо сказал:

– Меня поймут через пятьдесят лет. Не раньше. Мои стихи не доходят. Это я теперь вижу.

Маруся Грекова тихо плакала, закрыв лицо руками.

Лирический поэт стоял в неподвижной позе и с испугом прислушивался к крикам и реву.

Я ничего не понимал. Вернее, я глум, что чистое искусство дошло до масс, но в какой-то странной и неизвестной для меня форме.

Однако крики не смолкали.

Вдруг послышался топот бегущих ног за кулисами и в нашу уборную ворвалось несколько человек из публики.

– Просим! Просим! – радостно вопил какой-то гражданин, потрясая руками. Мы остолбенели.

Тихим, примиряющим голосом устроитель спросил:

– Товарищи... Не беспокойтесь... Не волнуйтесь... Все будет... Сейчас все устроим... Что вы хотели?

– Да который тут выступал, – сказал гражданин. – Публика очень даже требует повторить. Мы, как делегация, просим... Который тут сейчас с переодеванием, трансформатор.

Вдруг, в одно мгновение всем стало ясно. Нас четверых приняли за трансформатора Якимова, выступавшего в прошлом году в этом городе. Сегодня он должен был выступать после нас.

Совершенно ошеломленные, мы механически оделись и вышли из клуба.

И на другой день уехали из города.

Маленькая блондинка пианистка, саженого роста имажинист, я и, наконец, полный, румяный лирический поэт – мы вчетвером показали провинциальной публике поистине чудо трансформации.

Однако цветов, вареных яиц и славных почестей мы так и не получили от народа.

Придется ждать.



Двукратные чемпионы Олимпийских игр Олег Протопопов (приемный сын Дмитрия Цензора) и его жена Людмила Белоусова. Детство и юность Олега Протопопова прошли в Толстовском Доме. Фото Ю. Г. Белинского.

К. М. Азаговский

ЖИТЕЛЬНИЦА ТОЛСТОВСКОГО ДОМА НИНА ГАРИНА И ЕЕ ВОСПОМИНАНИЯ*

Много лет тому назад, впервые прочитав воспоминания Н. М. Гариной, я задумался: а нужно ли их публиковать? Они показались мне довольно сырыми в литературном отношении, к тому же – путаными и не во всем достоверными. А главное – далекими от самой литературы. Разве уж так важно – спрашивал я себя, – что произошло с Есениным в ту последнюю ночь? Кто был тогда или не был с ним рядом? С кем говорил он или не говорил по телефону? Покончил с собой трезвым или в алкогольном ударе? Стоит ли в этом копаться? К чему подробности? Ведь все это так ничтожно и мелко в сравнении с той непоправимой и воистину великой бедой – безвременной кончиной поэта! Интерес к обстоятельствам смерти Есенина существовал всегда, и он отчасти оправдан. «Эта страшная и в то же время такая жалкая гибель всколыхнула общественное сознание, – писал критик П. Н. Медведев в 1926 году. – Оказалось необходимым как-либо понять и уяснить эту развязку большой и сложной человеческой трагедии. Не столько творчество Есенина, сколько он сам оказался в центре внимания. В стихах его искали объяснения его жизненной драмы. Литературная личность поэта была заслонена его житейской биографией. Стихи поэта превратились в свидетельские показания, если не в последнее слово подсудимого»¹.

Прошло время, и ситуация, точно сформулированная Павлом Медведевым, еще более усугубилась. Возникла и распространилась в нашей стране легенда о насильственной смерти Есенина. Дескать, не он повесился, а его повесили. Сначала убили, а потом инсценировали самоубийство. Такой взгляд на события сам по себе не удивляет: смерть при обстоятельствах, не до конца проясненных, всегда рождает пересуды и толки. Однако «убийство» Есенина – и этот момент, в конечном счете, решающий – стало расцениваться как политическое, направляемое якобы «с самого верха». В дискуссию, выплеснувшуюся в конце 1980-х годов на

* Впервые воспоминания Н. М. Гариной опубликованы К. М. Азаговским в журнале «Звезда», 1995. № 9. С. 139-149. Вступление К. М. Азаговского, публиковавшееся под названием «Последняя ночь» (Там же. С. 127-138), просмотрено автором заново и дополнено материалами, появившимися после 1995 года.

страницы отечественной печати, включились медики, графологи, бывшие следователи. Тревожа и память, и прах Есенина, они приводили все новые «доказательства», грозно требовали раскопать могилу, произвести эксгумацию, создать «комиссию»...² Читая то, что публиковалось по этому поводу, я каждый раз поражался надуманности или явной предвзятости аргументов, коими пользовались сторонники новой версии. А порой – и заведомой фальсификации. «Врагами» (по сути – убийцами) поэта назывались близкие, преданные ему друзья (например, Вольф Эрлих), а также крупные партийные и политические деятели того времени, вплоть до самого Троцкого, который, как известно, высоко ценил Есенина и покровительствовал ему. Не говорю уже про тот омерзительный антисемитский гушок, который то явно, то исподволь исходил и исходит от большей части подобных публикаций.

В этом полностью изменившемся контексте каждый штрих, каждая деталь той роковой ночи в гостинице «Англетер» прочитывались по-новому, приобретали особое звучание, становясь доказательством либо «за», либо «против». Роковой вопрос – убийство или самоубийство? – продолжает и ныне будоражить умы, вызывает к себе острый, подчас болезненный интерес. Трагическая судьба русского поэта остается злободневной общественной темой, отражающей, увы, скорее пристрастия нашего времени, нежели факты есенинской биографии или стечение разного рода обстоятельств в декабре 1925 года.

По этой причине представляется целесообразным вновь обратиться к мемуарам Марины и взглянуть на них пристальней, попытавшись отделить сомнительное от истинного.

* * *

Несколько слов об авторе воспоминаний, чье имя удивительным образом ускользало до недавней поры от внимания биографов Есенина.

Нина Михайловна Гарина – жена драматурга и публициста Сергея Александровича Гарина (настоящая фамилия – Гарфильд; 1873–1927)³, известного также и своей общественно-партийной активностью. Профессиональный революционер, вступивший в РСДРП еще в 1903 году, Гарин подвергался в свое время преследованиям (сидел в тюрьме). Есть сведения, что он общался с Лениным⁴. В 1905–1906 годах находился во Владивостоке, где участвовал в митингах и демонстрациях. В конце 1906 – начале 1907 годов редактировал газету «Уссурийская жизнь» (Владивосток). В 1906–1908 годах подолгу жил за границей (Япония, Германия, США). С 1908 года – в России. 1917 год Гарин встретил председателем Гельсингфорсского совета; о его деятельности в тот период вспоминает Ф. Раскольников⁵. В 1918 году Гарин – полномочный полпред в Дании по делам русских военнопленных (вместе с семьей был



Н. М. Гарина

интернирован и затем выслан). В 1919 году – член Президиума Совнарсуда. Позднее – на партийной работе в Поволжье (в 1920 году – организатор нижегородского военно-морского трибунала и редактор газеты «Красный волжский флот») и на юге России (в 1921 году – комиссар обороны Черного и Азовского морей). В начале 1922 года Гарин с семьей переезжает в Петроград, работает в «Красной газете» (одно время – заместителем редактора) и «Петроградской газете»; его статьи и политические фельетоны печатаются рядом с выступлениями Л.Троцкого, Г.Зиновьева, К.Радека и других, а в литературных приложениях к названным изданиям («Красные огни», «Литературная газета»), публикуется его художественная проза. Именно тогда он и поселяется

вместе с женой и детьми в Толстовском Доме (квартира 559)⁶. В 1924 году Гарин получает новое назначение – комиссаром морских сил Дальневосточной республики. В последние годы своей жизни – в связи с болезнью – почти безвыездно живет в Ленинграде, избирается депутатом Петросовета (Ленсовета), членом президиума и правления Ленинградского губотдела ВСЕРАБИСА (Всероссийского Союза работников искусств), ответственным секретарем ленинградской АРК (Ассоциации революционной кинематографии) и принимает посильное участие в общественной и литературной жизни города⁷.

О Нине Михайловне, второй жене С. А. Гарина⁸, известно немного. Л. Н. Иванова, опытный архивист, отмечает в своей публикации воспоминаний Н. М. Гариной: «О самой же Нине Михайловне не удалось отыскать почти ничего: нет даже дат ее жизни, девической фамилии»⁹. Впрочем, даты жизни недавно удалось установить – хотя и приблизительно – по записям в домовое книге Толстовского Дома: 1882? – 1941 или 1942¹⁰. Кроме того, из статьи Л. Н. Ивановой явствует, что Н.М.Гарина училась в варшавской женской гимназии, за несколько месяцев до окончания которой вышла замуж за «выдающегося лингвиста» (по-видимому, одного из ее учителей). Замужество, длившееся 14 лет, закончилось

крахом. Вместе с тремя детьми (Алексей, Зоя и Николай) Нина Михайловна ушла к Сергею Гарфильду, с которым прожила, по ее словам, «тяжелую, в общем, но действ<ительно> прекрасную жизнь...»¹¹ Их союз длился 22 года (1905–1927)¹². Н. М. Гариной писатель посвятил книгу своих рассказов, озаглавленную «Как они умирали. Когда огни погасли» (М., 1911; книга появилась под псевдонимом «С. Гарин»).

Нина Михайловна была общительной светской дамой. Ее квартира в Толстовском Доме, как и в других городах, где Гариным случалось жить подолгу, отличалась открытостью и гостеприимством. Гарина дружила с писателями, художниками и артистами, которые, со своей стороны, отвечали ей искренней симпатией, посвящали свои произведения, дарили рисунки. Сохранился альбом Н. М. Гариной (переданный ею в 1933 году в Пушкинский Дом) – в нем писали ее друзья и знакомые. Среди известных писателей, кто так или иначе увековечил себя в этом альбоме, – Леонид Андреев, Иван Бунин, Сергей Городецкий, Максим Горький¹³, Всеволод Иванов, Николай Клюев¹⁴, Сергей Клычков¹⁵, Александр Куприн (кстати, посвятивший Гариной свой рассказ «Заклятье»), Борис Пильняк, Виктор Рышков, Дмитрий Цензор, Вячеслав Шишков, Иван Шмелев... Есенина среди них нет, что сама Гарина объясняла позднее следующим образом:

«Пока Есенин был юным – у меня не было альбома¹⁶. Затем, как я писала выше, он ускользал от нас, как ртуть, пропадая на долгие сроки...¹⁷ А последние мои встречи с ним я считала неподходящими для этой цели ввиду его неуравновешенного состояния... Сейчас я сознаю, что это было грубейшей моей ошибкой. Непростительной ошибкой – все писатели в альбоме были, кроме него...»

Нина Михайловна надолго пережила своего мужа. Она умерла в первую блокадную зиму.

* * *

К друзьям Сергея и Нины Гариных принадлежал и писатель Георгий Феофанович Устинов (1888–1932), прозаик-очеркист и (после 1917 года) партийный журналист. В историю русской литературы он вошел, однако, не столько своими художественными и публицистическими произведениями, сколько близким знакомством с Сергеем Есениным и воспоминаниями о его последних днях.

Присмотримся пристальнее к этой фигуре.

Крестьянин по происхождению, сын лесного сторожа, Устинов с малых лет отличался склонностью к писательству. Прослужив недолгое время матросом, штурманом и подручным на волжских судах, он с 1906 года начинает сотрудничать в газете «Сухоходец» (Нижний Новгород), затем – в «Нижегородском листке».



С. А. Гарин в своем кабинете в Толстовском Доме

Приблизительно в это время он попадает в тюрьму по подозрению в принадлежности к революционной партии (по его утверждению, арестовывался и позднее). В 1907 году в Нижнем Новгороде выходит отдельным изданием повесть Устинова «На судах». В письме к В. Д. Бонч-Бруевичу от 16 марта 1916 года Устинов упоминает о пьесе «Дни и ночи», которая, по его словам, была издана в Рыбинске и «шла несколько раз в провинциальных театрах – Рыбинска, Вологды, Вятки и др.»¹⁹ До 1915 года Устинов живет в провинции, сотрудничая в различных газетах Приволжья («Волгарь», «Голос», «Камско-Волжская речь», Сухоходец»). В 1916 году он перебирается в Москву, затем призывается в действующую армию.

После 1917 года Устинов с головой уходит «в революцию». Убежденный коммунист, горячо, до фанатизма, преданный советской власти (во всяком случае, именно таким предстает он в воспоминаниях Вадима Шершеневича²⁰), Устинов становится одним из видных «ответственных работников» советской печати: заведует отделом в «Правде», работает в редакции газеты «Советская страна», позднее – «Известий», где выступает и сам с публицистическими статьями. В 1918 году Устинов выпускает несколько брошюр под такими, например, названиями: «Крушение партии левых эс-эров», «Меньшевики, правые эсеры и контрреволюция». В 1920 году выходит в свет (написанная также в 1918 году) панегирическая

брошюра Устинова о Л. Д. Троцком – из ее содержания можно понять, что Устинов лично общался с наркомом. Своей партийно-журналистской работой Устинов был связан и с другими «вождями», например, с Фрунзе²¹.

Устинов познакомился и сдружился с Есениным в 1918 году. В начале 1919 года Есенин жил в его номере в московской гостинице «Люкс», находившейся в ведении Народного комиссариата внутренних дел (позднее эта гостиница получит мрачную известность как штаб-квартира членов Коминтерна, проживавших в Москве и оказавшихся в большинстве своем жертвами преследований и репрессий). Отношения у Есенина с Георгием Устиновым, которого он ласково именовал «Жоржиком», и его женой Елизаветой Алексеевной («тетей Лизой») были самые дружеские. «Есенин называл Устинова своим “отцом”, – вспоминала Н. М. Гарина. – Устинов любил “своего Сереженьку” действительно как настоящий отец... Нежно... Горячо... И преданно...»²² Не раз попадавший в затруднительные ситуации, Есенин, случалось, прикрывался именем Устинова. Так, в октябре 1919 года, давая показания в связи с арестом братьев Кусиковых, Есенин на вопрос «Кто может взять Вас на поруки?» ответил: «*Может безусловно за меня ручаться <...> тов. Устинов, сотрудник Правительственной газеты и др.*»²³. «Один из лучших друзей Есенина», – так характеризует Устинова лично знавший обоих журналист О. С. Литовский²⁴.

Устинов был сложной личностью... Догматическая узость «неколебимого революционера» сочеталась в нем с начитанностью и даже некоторой широтой взглядов. Он искренне любил литературу и, видимо, знал в ней толк; помнил наизусть множество стихов. Примечательно его признание в одном из писем:

*«Я – язычник, аморалист, способный преклоняться лишь перед Байроном, Уайльдом, Лермонтовым, Роменом Ролланом, Г. Манном. Из русских здравствующих ценю и высоко ставлю Л. Андреева, стихи Бунина, элегическую лирику А. Куприна и терпеть не могу бытовиков, всех в один голос подражающих М. Горькому»*²⁵. Слова эти плохо согласуются как с образом «самородка», выходяца из российской деревни, так и с рассказами и очерками Устинова, весьма тяготеющими именно к «бытовизму».

Столь же неровным было и отношение Устинова к Есенину, о котором он не раз отзывался в печати. Ценя его талант и видя в нем выдающегося поэта, Устинов подчас весьма резко высказывался о своем друге. Особенно полемична была его статья «Психо-бандитизм», направленная против новокрестьянских поэтов:

*«Есенин никуда не ушел от Клюева, – заявлял Устинов. – Эти два анархо-мужичка идут по одной дорожке. И если Клюеву мила старая сермяжная Русь, то Есенину сладок запах отцовского навоза. <...> Психический бандитизм недалеко ушел от действительного бандитизма»*²⁶.

С осени 1925 года Устинов живет в Ленинграде, работает в редакции «Красной газеты» (более ранние его приезды в Петроград, связанные с его деятельностью в



Сергей Есенин. Портрет работы Ю. П. Анненкова

«Красной газете», подробно описаны в воспоминаниях Гариной)²⁷. Есенин, прибывший 3 ноября 1925 года на несколько дней в Ленинград, навещает своего старого друга в гостинице «Англетер» (в 1924–1925 годах гостиница именовалась «Интернационал»), беседует с ним, читает стихи (в том числе – «Черного человека»). 6 ноября – накануне праздника Революции – в «Красной газете» появляется обзорная статья Устинова, посвященная советской литературе. «В поэзии, – говорится в этой статье, – первым по громадному лирическому таланту стоит Сергей Есенин...»²⁸

* * *

24 декабря 1925 года, в первый день своего последнего пребывания в Ленинграде, Есенин, не застав дома Эрлиха, отправляется в «Англетер» (до октября 1925 года – «Интернационал»), где живут Устиновы. Ему удается получить свободный номер («Англетер–Интернационал» был в то время, подобно «Люксу», гостиницей «особого назначения»; людей «с улицы» туда не пускали). Кто содействовал в этом Есенину – сам ли Устинов (о чем упоминалось впоследствии в одной из ленинградских газет²⁹) или кто-либо другой из высокопоставленных покровителей поэта,³⁰ – не вполне ясно.

Во всяком случае, можно сказать, что вселение Есенина в «Англетер» состоялось в то утро не столь безмятежно-просто, как это впоследствии описал Устинов³¹. Неясно и следующее обстоятельство: действительно ли пятый номер, где оказался Есенин, был тот самый, который он занимал вместе с Исидорой Дункан в феврале 1922 года? И если да, каким образом это вышло? По просьбе ли самого Есенина? Или случайно?

Все, что известно о последующих событиях, восходит к сообщениям печати, официальным документам (в том числе – свидетельским показаниям), а также нескольким записям, сделанным, что называется, по свежим следам³². Общая картина трагедии вырисовывается из всех этих материалов более или менее определенно. И кстати (об этом многократно сказано!): ни в одном из частных

писем или дневников, не говоря уже о документах, появившихся в печати, нет и намек на какое бы то ни было «убийство». Болезнь Есенина ни для кого не была секретом; его поведение, в особенности его пьяные выходки, заставляли друзей и близких тревожиться за поэта, не оставляя его надолго в одиночестве (Эрлих, как известно, ночевал в «Англетере» 25 и 26 декабря). И самое главное: современники знали и любили лирику Есенина с пронизывающим ее мотивом «ухода», неизбежной, неотвратимой гибели. Ведь то, что случится с ним в ночь с 27 на 28 декабря 1925 года, поэт предсказал еще в 1916 году:

*«В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь...»*

(Из стихотворения «Устал я жить в родном краю...»; 1916).

Даже в облике поэта, в его репликах, жестах, поступках, проявлялась – особенно в последние месяцы его жизни – усталость и обреченность. Поэт Рюрик Ивнев, близко знавший Есенина, сказал однажды, что тот был «прирожденным самоубийцей»³³. Николай Клюев, «песенный брат» Есенина, говорил: *«И ведь знал я, что так-то он кончит <...> чернота уж всего облепила...»*³⁴ Нет, решительно никто из есенинского окружения, да и вообще никто, не думал в те дни об «убийстве», тем более, политическом. Ведь Есенин ни в малейшей мере не был политической фигурой – кому же могло понадобиться устранить поэта, да еще столь замысловатым образом?! И уж, конечно, никому в то время не приходило в голову, что более чем через полвека возникнет миф об «убийстве» и начнется лихорадочный поиск «доказательств», «свидетелей» и т.д. Другое дело, что многие тогда (особенно в ближайшем окружении поэта) испытывали острое чувство вины и обиды: мол, недоглядели за Есениным, не попытались вовремя изменить его жизнь, потакали ему и на многое закрывали глаза. «И однако есть доля и нашей вины, – писал на другой день Владимир Пяст, – вины любого из нас в том, что зигзаги жизненного пути привели поэта к такому мрачному тупику»³⁵. Такое же чувство владело и Н. М. Гариной, и многими другими – всего резче это выразил Борис Лавренев в статье под названием «Казненный дегенератами»³⁶. Истины ради следует добавить, что, поступая так и не иначе, друзья Есенина, ценившие его талант и порою гревшиеся в лучах его славы, попросту жалели «Сережу», не хотели огорчать его или, в отдельных случаях, осложнять свои отношения с ним. Но вернемся к событиям 27 декабря.

* * *

Суммируя сохранившиеся свидетельства, ясно видишь трех человек, волею судьбы оказавшихся вблизи Есенина в последние часы его жизни: Вольф Эрлих, Георгий Устинов и Елизавета Устинова.

Почти весь воскресный день 27 декабря Вольф Эрлих провел в гостях у Есенина. Утром, разрезав себе руку, Есенин написал свое последнее стихотворение (оно носит, к кому бы оно ни было обращено, откровенно прощальный характер). Пили чай и пиво («дворник принес бутылок пять, шесть»³⁷). Днем Эрлих ненадолго покидает Есенина, затем возвращается. Около шести часов вечера, по его словам, Устиновы уходят к себе: Устинов заявляет, что хотел бы «соснуть часика на два»³⁸. В номере Есенина, кроме хозяина, остаются двое: Вольф Эрлих и журналист Д. Ушаков, также проживающий в «Англетере». Часов в восемь вечера Эрлих прощается и уходит. Однако, пройдя до Невского проспекта, он вспоминает, что забыл портфель, и возвращается. Застает Есенина одного – тот просматривает свои старые стихи. Еще раз прощается и уходит. «На прощанье Сергей, смеясь, сказал, что он сейчас пойдет будить Устинова»³⁹.

Описывая впоследствии день 27 декабря, сам Устинов и его жена создают картину, в целом также довольно идиллическую (если не считать, конечно, эпизода с разрезанной рукой и стихотворения, написанного кровью): ужинали, разговаривали, шутили... О пяти-шести бутылках пива никто из них не упоминает, и потому легким диссонансом звучит фраза Устиновой: «Вечером Есенин заснул на кушетке». Злополучные бутылки – важное обстоятельство, если принимать во внимание случившееся через пару часов! – обходит молчанием и Устинов. «Сергей был совершенно трезв»⁴⁰, – подчеркивает он в своих воспоминаниях. (В показаниях следователю на другой день Устинов отметит, что Есенин был слегка пьян, но потом совсем протрезвел⁴¹.)

В том, что Есенин был «слегка пьян» или «совершенно трезв» можно все-таки усомниться. Литератор Лазарь Берман, знакомый Есенина с 1915 года, решил заглянуть к нему 27 декабря, и вот что читаем мы в его записях:

«От редакции “Ленинских искр”, в которой я работал, было недалеко до “Англетера”, где, как я узнал, он остановился. Приближаясь к дверям его номера, я услышал из комнаты приглушенный говор и какое-то движение. Не приходилось особенно удивляться, – о чем я не подумал, – что едва ли застану его одного. Постучав и не получив ответа, я отворил дверь и вошел в комнату. Мне вспоминается она как несколько скошенный в плане параллелограмм, окно слева, справа тахта. Вдоль окна тянется длинный стол, в беспорядке уставленный разными закусками, графинчиками и бутылками. В комнате множество народа, совершенно для меня чуждого. Большинство расхаживало по комнате, тут и там образуя отдельные группы и переговариваясь.

А на тахте, лицом кверху, лежал хозяин сборища Сережа Есенин в своем прежнем ангельском облике. Только печатью усталости было отмечено его лицо. Погасшая папироса была зажата в зубах. Он спал.

В огорчении стоял я и смотрел на него.

Какой-то человек средних лет с начинающейся полнотой, вроде какого-то распорядителя, подошел ко мне.

– Вы к Сергею Александровичу? – спросил он и, видя, что я собираюсь уходить, добавил:

– Сергей Александрович скоро проснется.

Не слушая уговоров, я вышел из комнаты.

На следующее утро, спешно наладив работу редакции, часу в десятом, я снова направился к Есенину. В это время я его, наверное, уже застану неспящим, – думал я, быстро сбегая по лестнице.

Внизу, навстречу мне, из входных дверей появился мой знакомый, ленинградский поэт Илья Садофьев.

– Куда спешите, Лазарь Васильевич? – спросил он.

– К Есенину, – бросил я ему.

Садофьев всплеснул руками:

– Повесился!⁴²

Почему в комнате Есенина было столь людно? – вот первый вопрос, сразу же и неизбежно возникающий при чтении цитированного отрывка. Кто был человек «с начинающейся полнотой», державший себя «распорядителем»? Журналист Ушаков? Кто мог еще находиться в комнате? Дворник, который бегал за пивом и был по случаю праздника приобщен к застолью? Художник П. А. Мансуров, свидетельствующий, что посетил Есенина вместе с Клоевым именно 27 декабря? Наконец, нельзя исключить и кого-нибудь из служащих гостиницы. Напомним, что «Англетер» был учреждением ведомственным, постояльцы жили там не день, не два, и, разумеется, отношения с персоналом были у них более тесными, чем в обычной гостинице.

Так или иначе, но с уверенностью можно сказать, что в номер к Есенину в тот день заходило куда больше людей, чем «запомнилось» Эрлиху и Устиновым, и что общее настроение было все же довольно праздничное. Во всяком случае, рождественский гусь, о котором упоминают все очевидцы, был съеден наверняка не всухую.

* * *

Следующее появление Эрлиха в «Англетере» – утром 28 декабря. Вместе с Елизаветой Устиновой он пытается войти в номер к Есенину – дверь заперта. Они зовут на помощь В. М. Назарова, коменданта гостиницы; тот запасным ключом (по воспоминаниям Устиновой – отмычкой) открывает дверь. Дальнейшее – хорошо известно.

Итак, Эрлих расстался с Есениным около восьми (по воспоминаниям Устинова, – девяти) часов вечера и больше не видел его живым. Эти данные ничем не опровергаются, и (если не пытаться, конечно, изобразить Эрлиха злейшим врагом Есенина и участником «заговора») их следует признать достоверными.

Итак, вечером 27 декабря в гостинице «Англетер» находились (в разных комнатах и на разных этажах) Есенин и чета Устиновых. Есенин, видимо, не хотел, чтобы его беспокоили: он спустился вниз и просил портье или швейцара никого не пускать к нему (так показали на другой день опрошенные; затем эта информация появилась в «Красной газете»)⁴⁴. А к Устинову пришел его друг, писатель С. А. Семенов и провел у него несколько часов до полуночи (после 12-ти посторонним находиться в гостинице запрещалось). Устинов, намеревавшийся заглянуть к Есенину перед сном («Я еще зайду к тебе, Сережа». – «Обязательно заходи!»⁴⁵), якобы не пожелал его тревожить. Есенин, со своей стороны, обещавший подняться к Устиновым, тоже не сдержал слова («Звали его к себе, он хотел зайти – и не пришел»⁴⁶).

В общем, собирались встретиться в тот вечер еще раз, посидеть, поговорить – не вышло. Житейски такая ситуация легко воображима.

Именно здесь и выступает на первый план важнейший свидетель – Н. М. Гарина. Ее рассказ, кажется, проливает свет на то, что произошло в «Англетере» после 12 часов ночи. Согласно ее воспоминаниям, дело обстояло таким образом: встретившись и изрядно «угостившись», Есенин и Устинов звонят ей около часу ночи из гостиницы и желают немедленно ехать к ней на Троицкую (десять минут от «Англетера» в ночное время), рассчитывая, вероятно, поужинать у нее и «провести время». Если этот эпизод действительно имел место, то все дальнейшее рисуется в несколько ином свете, чем принято было полагать до сих пор.

Закономерен вопрос: а заслуживает ли доверия рассказ самой Гариной?

* * *

Нина Михайловна принялась записывать свои воспоминания в 30-е годы, когда ситуация в стране и вокруг нее решительным образом изменилась. Революционеры «первого поколения», к которому принадлежал С. А. Гарин, один за другим сходили со сцены, теряли свое влияние, были отправлены в тюрьмы и лагеря, а то и просто уничтожены физически. Ленинград, где Гарина осталась жить после смерти мужа, прошел через тяжчайшее испытание – убийство Кирова и начавшуюся затем эпоху террора. Что касается литературы, то многие из писателей, что некогда окружали Гарину, оказались либо за границей (Бунин, Куприн, Шмелев), либо в ссылке (Клюев), либо в опале (Клычков). Имена же других, хотя и умерших, были в Советском Союзе, мягко говоря, непопулярны (Леонид Андреев, Герман Лопатин). К последним можно отнести и Есенина с Устиновым. Воспоминания Гариной о них обоих создавались в 1935 году, когда имя Есенина окружено было почти полным молчанием⁴⁷. Тем не менее, Гарина, желая сохранить память об этих людях, упорно писала – работала, что называется, «в стол», без всякой надежды увидеть когда-либо свой труд напечатанным. При этом она писала не отдельные очерки, но

книгу воспоминаний. Раздел о Есенине и Устинове образует в этой книге (оставшейся, по многим причинам, незавершенной) лишь одну из глав. Гарина вовсе не ставила перед собой задачи написать именно про Есенина или Устинова – в ее мемуарном замысле они стояли, не выделяясь, наравне с другими «героями».

Ну, а как же быть с явной путаницей, что налицо в воспоминаниях Мариной? Особенно – с путаницей в датах? Год знакомства Мариной с Есениным, вехи его литературного пути, приезды в Ленинград и т. д. – сведения, которые сообщает Гарина, нуждаются, бесспорно, в серьезной корректировке. Сбивчиво и весьма неточно изложены Мариной обстоятельства того памятного утра 28 декабря, когда она узнала о смерти поэта⁴⁸. Конечно, эту сбивчивость нетрудно объяснить ее подавленным, оглушенным тогда состоянием. Более того, именно обилие мелких неточностей говорит, скорее, в пользу мемуаристки: тот, кто сознательно искажает истину, должен, казалось бы, с вниманием отнестись к внешней, фактической стороне дела, изучить прочие свидетельства, позаботиться о «мелочах», дабы не навести на мысль о подлоге, и т. п. Гарина же, по ее собственному признанию, даже не читала опубликованных к тому времени воспоминаний о Есенине. Для нее существенны были не детали, а целостный образ человека – его портрет, характер, привычки. (То же самое можно сказать и о воспоминаниях Мариной, посвященных другим людям.)

И еще одно соображение, подтверждающее, на наш взгляд, аутентичность публикуемых записей. Н. М. Гарина, как это видится в свете ее воспоминаний, была в свое время глубоко задета упреком Устинова, бросившего ей утром 28 декабря: «А ты сама... вчера...». Этой репликой Устинов как бы возложил на Гарину известную долю вины за случившееся. Вот, мол, пригласила бы ты нас и ничего такого, верно, не произошло бы! Гарина запомнила эти слова Устинова, и даже теперь, спустя много лет, ей хотелось (может быть, подсознательно) снять с себя незаслуженный упрек, доказать себе и другим, что она ни в чем не виновна, объяснить, как все было на самом деле. Путаясь в деталях, Гарина не могла ошибиться в том, что было для нее самым существенным.

Доказать все это окончательно – пока не обнаружатся иные, более весомые свидетельства, – разумеется, невозможно. И все же версия, возникающая при чтении воспоминаний Мариной, должна быть безусловно принята во внимание.

Что же это за версия?

* * *

Проводив Семенова, Устинов, как и договаривались, зашел к Есенину в номер или, возможно, Есенин поднялся к Устинову. «Наедине с ним было нестерпимо

оставаться, но и как-то нельзя было оставить одного, чтобы не нанести обиды», – туманно выскажется позднее Устинов .

Откуда появилось вино или пиво – сказать трудно. Ресторана в «Англетере» не было, а кроме того, по праздничным дням продажа спиртного вообще ограничивалась. Угостил ли кто-то из других постояльцев или допивали то, что принес коридорный («Утром в корзине нашли 3 нетронутых бутылки», – свидетельствует П. Лукницкий⁵⁰), – можно предположить и то, и другое. Как много было выпито, – не имеет значения: Есенин хмелел почти моментально⁵¹. Затем приятели позвонили Гариной; она наотрез отказалась принять их в столь позднее время. Что было дальше? Устинов рассказывал Гариной, что Есенин ушел к себе; он, Устинов, заглядывал к нему, «звал обратно» – Есенин «не шел» (надо понимать; отказывался!). В черновике уточняется: Устинов заходил к Есенину дважды, а когда заглянул к нему в третий раз, поэта уже не было в живых (см. примеч. 27 к тексту воспоминаний).

Конечно, изложенная таким образом эта версия опять-таки вызывает недоумение. Почему Устинов немедленно (т. е. ночью или ранним утром) не позвонил в милицию? Каким образом удалось ему «заглянуть» в комнату, запертую на ключ изнутри? Почему, наконец, ни Устинов, ни его жена ни словом не обмолвились на другое утро о том, что знали?

Ответ на эти и другие неизбежные вопросы может быть только такой: *нам ничего не известно о том, что в действительности произошло между Есениным и Устиновыми в ночь с 27 на 28 декабря 1925 года. Как долго сидели они и говорили друг с другом? О чем? Каков был их разговор? Возможно, спор? Конфликт? Что мог позволить себе несдержанный и легко уязвимый Есенин? Как ответил ему Устинов (если верить Гариной, тоже нетрезвый)? Не мог ли Есенин с его подозрительностью, нервозностью, мнительностью за что-то обидеться на своих грузей? Пригрозить им, попытаться их напугать? Что означают намеки в воспоминаниях Устинова, будто Есенин «умер случайно, желая только поиграть со смертью»?*⁵²

Мы вряд ли когда-нибудь узнаем об этом. Но можно живо себе представить, как в состоянии обиды или отчаяния, действительно «близком к умопомешательству», Есенин заперся у себя в номере, изрезал в кровь себе руки, «обернул вокруг своей шеи два раза веревку от чемодана, вывезенного из Европы, выбил из-под ног тумбочку и повис лицом в синей ночи, смотря на Исаакиевскую площадь»⁵⁴.

Да, так оно, пожалуй, и было.

* * *

Как бы ни оценивать воспоминания Н. М. Гариной, они помогают высветить один принципиально важный момент: центральной фигурой той ночи является

безусловно Устинов. Он и его жена – два этих человека, *и только они*, знали до конца все, что тогда случилось. Тайна, окружающая события той ночи, – была «тайной трех»; после смерти Есенина она стала тайной двоих – Георгия Устинова и Елизаветы Устиновой.

Почему же оба молчали? Почему не открыли обстоятельств трагедии?

Повторю еще раз: нам неизвестны эти обстоятельства. Не бросают ли они тень на Есенина? Или на Устиновых? (Напомним, Устинов был тогда ответственным партийным журналистом.) Ясно осознававший роль и значение Есенина («Умер громадный, глубокий национальный поэт», – писал он 29 декабря⁵⁵), Устинов отдал себе отчет и в том, какой огромный общественный резонанс вызовет смерть поэта. И подобно тому, как он раньше опекал Есенина, Устинов, по видимому, и на этот раз позаботился о поэте, о его памяти – не стал загромождать ее ненужными, как ему казалось, подробностями о последних часах его жизни. Именно Устинов и его жена – единственные реальные очевидцы! – сделали, в сущности, невозможным любое криминальное расследование, ограничив свои показания и воспоминания о случившемся 6-ю или 7-ю часами вечера и теми утренними часами, когда в гостинице появился Эрлих – посторонний, ни о чем не подозревавший «свидетель», в присутствии которого было всего естественней позвать коменданта и войти в 5-й номер. (Оба они к тому времени уже знали или догадывались о развязке.)

Да, Устинов кое о чем умолчал. И умолчал сознательно, пытаясь отчасти обелить Есенина и, с другой стороны, вывести из этой истории, насколько возможно, себя самого и Елизавету Устинову. Зачем? – так, видимо, рассуждал Устинов. – Зачем сообщать подробности, которые могут породить лишь новые сплетни и домыслы?! Разве мало и без того всякой грязи лилось на Есенина с газетных и журнальных страниц?! Разве мало ужаса в противоестественной смерти!⁵⁶ А главное – Есенину-то уже все равно не поможешь!

Да, помочь в тот момент Устинов мог разве что самому себе, оградив себя по возможности от расспросов следователей и журналистов. Так он и поступил, оставив нас – спустя десятилетия! – размышлять над загадкой есенинского ухода.

Не будем идеализировать Устинова, но отдадим ему должное: он не предал Есенина и многое сделал для его памяти. Ведь именно он держал тогда в поле зрения всю стремительно обрастающую слухами информацию о смерти поэта и весьма продуманно, выверенно пропускал ее через редакционный фильтр «Красной газеты», оказавшейся в те дни основным печатным источником сведений о случившемся⁵⁷. Именно Устинов, в чем трудно усомниться, был инициатором официального сообщения, помещенного в «Красной газете» 29 декабря⁵⁸.

Очевидно, Устинову (и впоследствии – П. И. Чагину⁵⁹) мы обязаны тем, что в последующие дни, как и в течение всего 1926 года, «Красная газета» систематически печатает на своих страницах статьи о Есенине и его неизвестные

произведения (в том числе – отрывок из поэмы «Черный человек»), сообщает об основных мероприятиях по увековечиванию его памяти. Именно Устинов организовал и выпустил «есенинский» номер «Красной газеты» 31 декабря 1925 года (некрологические статьи В. Каверина, С. Семенова, М. Слонимского, Н. Тихонова, А. Толстого). Именно в «Красной газете» появляется 19 января (20 января – в «Известиях») статья Л. Д. Троцкого «Памяти Есенина». Излишне говорить и о том, насколько отличался стиль публикаций «Красной газеты», посвященных Есенину в 1926 году, от тональности выступлений Л. Сосновского в «Правде» или, скажем, А. Крученых, насколько он был вообще далек от нараставшей в стране кампании против Есенина и «есенинщины».

Друг Есенина и очевидец его последних часов, Устинов не уклонился и от участия в сборниках памяти поэта, которые начали готовиться сразу же после его похорон. Любопытно взглянуть на различные редакции его воспоминаний. Первая из них («Сергей Есенин и его смерть»), появившаяся 29 декабря в «Красной газете», была написана, конечно, на скорую руку и содержала сведения о их первом знакомстве, о «повороте» Есенина от левых эсеров к большевистским Советам, о его «шатаниях», о встрече с Дункан... В текст своей заметки Устинов включил и стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья...», полученное им накануне от Эрлиха, рассказал о том, как оно было написано, и сопроводил его коротким пояснением: «Стихотворение это написано не мне, а товарищу, который скажется, если это ему нужно: товарищ этот просил стих не опубликовывать, потому что так хотел Есенин...». О предсмертных же часах Есенина Устинов первоначально не написал ни слова.

Второй и расширенный вариант воспоминаний Устинова появился через несколько месяцев в подготовленном «Всероссийским Союзом поэтов» сборнике «Памяти Есенина» под заголовком «Годы восхода и заката», третий и последний – в том же году в сборнике «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания». Сопоставляя эти редакции, нетрудно видеть, что Устинов в обоих случаях как бы уводит читателей в сторону от того, что было в действительности (по изложенной выше версии), намеренно «смазывает» наиболее важные детали последних часов, повторяя, что в последний раз видел своего друга около 6 или 7 вечера 27 декабря, и т. д.⁶⁰

Нет, Устинов, по существу, не лжет, но явно недоговаривает, ничего не сообщая о том, что естественно ожидалось бы в такой связи: как узнал он о самоубийстве, какими были его первые действия, кто извлекал Есенина из петли... Почему? Разве он, профессиональный литератор, был не в состоянии дописать еще несколько строк? И еще вопрос: почему понадобилось привлечь к этому Елизавету Алексеевну Устинову? Кто такая Устинова (под этим именем в литературе, насколько известно, она не выступала)⁶¹? Сам собой напрашивается вывод: Георгию Устинову важно было дать слово еще одному «очевидцу» –

косвенным образом подтвердить то, что он собирался заявить от собственного имени.

Странно! Муж и жена, проживающие в одном и том же номере «Англетера» (1 130) и оказавшиеся рядом с Есениным накануне, за пару часов до его гибели, пишут через несколько дней (мемуары Устиновой имеют дату: 3 января 1926 года) о том, что происходило у них на глазах... по отдельности, как бы независимо друг от друга. Пишут о последних часах Есенина по-разному (каждый из них привносит мелкие штрихи и детали), но в равной степени невнятно, смутно. Особенно расплывчаты воспоминания Устиновой в своей основной, завершающей части. В них та же недоговоренность, что и в мемуарном очерке, написанном ее мужем, пропущены – это очевидно! – и факты, и логические звенья. Добавим, что воспоминания Устинова и его жены близки не только по содержанию, но и стилистически. Так можно ли поручиться, что Елизавета Алексеевна писала самостоятельно, что ее воспоминания не отредактированы Георгием Устиновым или, по крайней мере, не согласованы с ним?

Все это всего-навсего гипотеза, требующая прямых и неоспоримых доказательств, но если она подтвердится, то версия, вытекающая из мемуаров Мариной, станет гораздо более убедительной.

Ощущение «странности» еще более усиливается при сопоставлении устиновских воспоминаний с тем изложением событий, которое было напечатано на другой день (анонимно) в «Новой вечерней газете». Сообщалось, что Устинова, спустившись утром к Есенину «за самоваром» и найдя дверь запертой, «ушла к себе и только около 11 час. рассказала вернувшемуся мужу, что не могла достучаться к Есенину». Устинов отправился сам и, «предположив неладное», позвал коменданта, с помощью которого и вскрыл дверь⁶².

Так кто же все-таки первым вошел в 5-й номер «Англетера»? Елизавета Устинова с Эрлихом (его имя вовсе не упоминается в «Новой вечерней газете»)? Или Георгий Устинов с Назаровым? Откуда мог «вернуться» Устинов к 11 часам утра? Со службы? Но в его печатных воспоминаниях нет ничего подобного. Что означает, собственно, эта анонимная публикация? Отзвук расплывшихся по городу слухов или пересказ того, что говорили поначалу (то есть утром и днем 28-го) Устинов и его жена? Можно ли допустить, что Устинов, сотрудник «Красной газеты» и в высшей степени «заинтересованное лицо», не знал заранее про есенинский «материал», подготовленный в редакции «Новой вечерней...»? А если он прочел его лишь 29-го – почему сразу же не опроверг, не уточнил сведения, столь отличные от его собственных официальных показаний?

А может быть, задача Устиновых в том и состояла, чтобы затемнить дело? Сказать что-то, не прояснив ничего?! Упомянуть о частностях (не слишком даже заботясь о том, чтобы они совпадали), но умолчать о главном – о ночных обстоятельствах? Если цель их была такова, то они, бесспорно, ее достигли. Смерть

Есенина превратилась в «неразрешимую тайну»⁶³. Покров неизвестности окутал его последние часы. Нескончаемо промоздятся вопросы, сталкиваются «версии» и разгораятся дискуссии, и в этом объективно повинны прежде всего Устиновы, утаившие, по видимости, нечто важное, пусть даже вынужденно или из благих побуждений!

* * *

Занимаясь на протяжении многих лет творчеством новокрестьянских поэтов (Клюева, Есенина, Клычкова, Орешина и др.), я слышал от разных людей о том, что изредка в кругу самых близких друзей Устинов признавался в своей причастности к «последней тайне» Есенина. Разговоры об этом проникли за минувшие годы в печать – притом, как правило, в такой форме: вот, дескать, проговорился Устинов кому-то, что знает правду о смерти Есенина, а через несколько дней его самого из петли вынули. Ясное дело: убрали «свидетеля», а может, и соучастника преступления.

Да, лучше чем кто-либо другой Устинов знал о том, что произошло в «Англетере»... Хотя его собственная гибель – разумеется, самоубийство! – наводит, скорее, на мысль о том, что он, решив от безвыходности покончить с собой и выбрав тот же способ, совершил напоследок отчаянную попытку связать себя с Есениным, так сказать, намертво, единым узлом, разделить его участь – трагическую участь «черного человека», доведенного до порога неизлечимой болезни и загнанного в последний жестокий тупик. Что хотел он выразить своим поступком? Верно, посмертную есенинскую правоту и самую страшную непродолимую «тайну» – невозможность жить в удушенной, умерщвленной стране! Есенин угадал это чутким слухом поэта раньше других; Устинов – семь лет спустя.

Устинов и после смерти остался рядом с Есениным. Он похоронен на Ваганьковском кладбище, в «есенинской» аллее, напротив могилы своего друга.

Нет, не случайно Нина Михайловна Гарина соединила их имена в своих воспоминаниях!

Публикуемый ниже текст представляет собой машинопись, правленную рукой Н. М. Гариной (ИРЛИ. Ф. 736. № 64. Л. 21-39). В конце текста – подпись «Н. Гарина» и адрес (Ленинград, ул. Рубинштейна, 15, кв. 559, 10-й подъезд). Расхождения между этим и другим (не выверенным) экземпляром (Л. 1-20) учтены. Явные опечатки устранены без оговорок. Знаки препинания расставлены согласно современным требованиям при сохранении – в большинстве случаев – индивидуальной авторской манеры.

Примечания

¹ *Медведев П. Н.* Пути и перепутья Сергея Есенина // Клюев Н. и Медведев П. Н. Сергей Есенин. Л., 1926. С. 21.

² Созданная в июне 1989 г. Комиссия Есенинского комитета Союза писателей по выяснению обстоятельств смерти поэта пришла к выводу, что все изученные ею материалы «не дают каких-либо оснований для подтверждения “версий” об убийстве Есенина С. А.» (Книжное обозрение. 1993. № 34. 27 августа. С. 10; Смерть Сергея Есенина. Документы. Факты. Версии. Материалы Комиссии Всероссийского писательского Есенинского комитета по выяснению обстоятельств смерти поэта. М., 2003. С. 205).

³ Основные сведения о Гарине-литераторе см. в биографическом словаре «Русские писатели 1800–1917» (Т. 1. М., 1989. С. 526–527). См. также: Письмо М. Горького С. А. Гарфильду / Публ. А. А. Спиридоновой // Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. Аннотированный каталог. Публикации. Вступит. статья Н. Г. Князевой. Научный редактор К. Д. Муратова. М., 1989. С. 344–347.

⁴ См.: *Войналович Д.* На Курском перекрестке // Аврора. 1973. № 3. С. 42.

⁵ *Раскольников Ф.* О времени и о себе. Воспоминания. Письма. Документы. Л., 1989. С. 140.

⁶ См.: *Колотило М. Н.* Толстовский Дом. Созвездие имен. Под научной редакцией В. Г. Смирнова-Волховского. СПб., 2011. С. 121.

⁷ В отдельных статьях и биографических справках о С. А. Гарине, появившихся за последнее время, наметилась некая «обличительная» тенденция: «анархист», «политик-авантюрист», занимался «мокрыми делами» и т.д. (см., например: *Кузнецов В.* Тайна гибели Есенина. По следам одной версии. М., 1998. С. 133–134. *Белобров А. П.* Воспоминания военного моряка. Изд. подг. О. А. Белоброва, В. А. Ромодановская. М. – СПб., 2008. С. 732–733). Нам представляется, что биография этого литератора и революционера, действительно насыщенная разнообразными событиями и «приключениями», заслуживает более пристального внимания и объективной оценки.

⁸ Литературный псевдоним Гарина стал впоследствии (видимо, еще задолго до 1917 года) его подлинной фамилией. И Нина Михайловна, и все ее дети (как и дети Гарина от первого брака с М. Г. Тимушко) носили именно эту фамилию (см.: *Гарина Н.* Воспоминания о Леониде Андрееве / Публ. Л. Н. Ивановой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2000 год. СПб., 2004. С. 413

⁹ Там же. С. 416.

¹⁰ *Колотило М. Н.* Толстовский Дом. Созвездие имен. С. 121. Год рождения Н. М. Гариной, указанный в домово́й книге, вызвал у автора-составителя обоснованные сомнения. Сопоставив эту дату с другими известными ныне фактами ее биографии (см. далее), М. Н. Колотило указала иную (по-видимому, более точную) дату рождения Н. М. Гариной: 1875.

¹¹ *Гарина Н.* Воспоминания о Леониде Андрееве / Публикация Л. Н. Ивановой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2000 год. С. 416.

¹² Там же.

¹³ М. Горький переписывался с С. А. Гарфильдом в 1909–1912 годах; сохранилось шесть писем М. Горького Гарфильду и шесть ответных писем (см.: *Горький М.* Полн. собр. соч. и писем. В 24 т. Т. 7. Письма. Конец августа 1908 – 1909. М., 2001. С. 96, 156, 365, 446–447, 555; Т. 9. Письма. Март 1911 – март 1912. М., 2002. С. 45–46, 353–354, 629; Т. 10. Письма. Апрель 1912 – май 1913. М., 2003. С. 234, 600;).

¹⁴ О взаимоотношениях Клюева с С. А. и Н. М. Гариными см.: *Азаговский К.* Николай Клюев. Путь поэта. Л., 1990. С. 7–8, 94, 131, 245 и др. Письма Клюева к С. А. Гарину

за 1913 г. впервые опубликованы Г. Мак Вэем в кн.: *Клюев Н. Сочинения*. Под общей редакцией Г.П.Струве и Б.А.Филиппова. Т. 1. Вступит. статьи Бориса Филиппова и Горгона Мак Вэя. <Мюнхен> 1969. С. 186–188. Незавершенные воспоминания Гариной о Клюеве см. также в кн.: Базанов В.Г. С родного берега. О поэзии Николая Клюева. Л., 1990. С. 9–10, 17–18; Николай Клюев глазами современников. Сост., подг. текста и примеч. В. П. Гарнина. СПб., 2005. С. 38–43.

¹⁵ См.: *Хлебянкина Т.* Клычков и С.Гарин // Клычковский вестник (г. Талдом Московской обл.), 1994. № 2. 6 июля. С. 3.

¹⁶ Альбом Н. М. Гариной начинается с записей 1913 г.

¹⁷ См. публикуемые ниже воспоминания (раздел 1).

¹⁸ Фрагмент, не включенный Н.М.Гариной в окончательный текст ее воспоминаний о Есенине и Устинове (Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (далее – ИРЛИ). Ф. 736. № 64. Л. 46).

¹⁹ Научно-исследовательский Отдел рукописей Государственной российской библиотеки. Ф. 369. Карт. 356. № 17. Л. 1.

²⁰ См.: *Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., 1990. С. 590–592.*

²¹ «М. В. Фрунзе я знаю недавно, – вспоминал Устинов сразу же после его смерти, – с Октябрьской революции, которая застала нас обоих на Западном фронте, около Минска. <...> Последний раз мне пришлось проделать ряд продолжительных поездок с М.В. Фрунзе. Это было в осенние месяцы 1921 г.» (Красная газета. Утр. вып. 1925. № 252. 3 ноября. С. 2).

²² ИРЛИ. Ф. 736. № 64. Л. 40 об.

²³ См.: С. А. Есенин. Материалы к биографии. М., 1992. С. 274.

²⁴ *Литовский О.* Так и было. Очерки. Воспоминания. Встречи. М., 1958. С. 24. Мемуарист приводит также четверостишие-экспромт Есенина, в котором упоминается Г. Устинов.

²⁵ Недатированное письмо Г.Ф. Устинова к Л. М. Клейнборту (судя по содержанию – начало 1917 г.) // ИРЛИ. Ф. 586. № 210. Л. 5.

²⁶ *Устинов Г.* Литература наших дней. М., 1923. С. 55.

²⁷ В. И. Кузнецов, внимательно изучавший архивные источники, попытался воссоздать – на документальной основе – жизненный путь Г.Ф.Устинова (см.: *Кузнецов В.* Тайна гибели Есенина. С. 129–133; *Кузнецов В.* Он скрывал тайну гибели Есенина // *Новый журнал* (С. – Петербург). 2000. № 2. С. 90–121). Эти публикации содержат немало полезных сведений, однако тенденциозно-предвзятый подход автора к основному сюжету (смерть Есенина конструируется как результат тщательно спланированного заговора, осуществленного якобы «чекистским» и «еврейским» окружением поэта), побуждает отнестись к ним с большой осторожностью.

²⁸ *Устинов Г.* Литература Октября. (За 8 лет) // Красная газета. Веч. вып. 1925. № 270. 6 ноября. С. 6.

²⁹ Новая вечерняя газета. 1925. № 247. 29 декабря. С. 5.

³⁰ Тот факт, что Есенин имел тогда весьма влиятельных «покровителей», подтверждается эпизодом, запечатленным в воспоминаниях писателя А. И. Тарасова-Родионова, который в последний раз виделся и говорил с поэтом в Москве 23 декабря 1925 г. (накануне отъезда поэта в Ленинград). На реплику своего собеседника о том, что достать билет из Москвы в Ленинград невозможно, Есенин «хитро и самодовольно улыбнулся» и сказал: «Билеты уже оставлены в кассе, остается их только взять. Пусть для других это и невозможно, для меня это ровно ничего не стоит. Меня жизнь избаловала и балует: для меня – все легко» (*Тарасов-Родионов А.И.* Последняя встреча с Есениным // С.А.Есенин. Материалы к биографии. С. 251). Нельзя исключить и того, что Есенин мог пользоваться – разумеется, в ограниченной мере – поддержкой могущественного ГПУ. М. Д. Ройзман, ссылаясь на архивный источник,

утверждает, что в октябре 1925 г. Дзержинский лично отдал распоряжение «заботиться о поэте» (Ройзман М. Все, что помню о Есенине. М., 1973. С. 62).

³¹ Устинов Г. Мои воспоминания об Есенине // Сергей Александрович Есенин. Воспоминания. М. – Л., 1926. С. 163.

³² Наиболее важными среди них являются: письмо В.А.Рожественского к В.А.Мануйлову от 28 декабря 1925 г.; письмо В.И.Эрлиха к В.И.Вольпину от 28 января 1926 г.; письмо П.Н. Лукницкого к Л.В. Горнунгу от 29 января 1926 г.; и др.

³³ Эти слова Р. Ивнев сказал в беседе с Г.Мак Вэем, английским биографом поэта, 27 марта 1966 г. (Mc Vay G. Isidora & Esenin. Ann Arbor, 1980. P. 301).

³⁴ См.: Форш О. Сумасшедший корабль. Роман. Рассказы. Л., 1988. С. 132.

³⁵ Пяст В. Погибший поэт // Красная газета. Веч. вып. 1925. № 314. 29 декабря. С. 4.

³⁶ См. примеч. 7 к тексту воспоминаний Гариной.

³⁷ Эрлих В. Право на песнь. Л., 1930. С. 103.

³⁸ Там же. С. 104.

³⁹ Эрлих В. Четыре дня // Памяти Есенина. М., 1926. С. 96 (в книге «Право на песнь» эти слова отсутствуют).

⁴⁰ Устинов Г. Годы восхода и заката. (Воспоминания о Сергее Есенине) // Памяти Есенина. С. 88.

⁴¹ Рукописный отдел Института мировой литературы РАН. Ф. 32. Оп. 2. ¹ 41. Любопытно сопоставить эти данные с тем, что писал П. Н. Лукницкий Л. В. Горнунгу 29 декабря 1926 года: «Накануне Есенин был совершенно трезв. Поздно вечером он послал коридорного за пивом. Тот принес 1/2 дюжины. Утром в корзине нашли 3 нетронутых бутылки». Внизу Лукницкий сделал приписку: «Распространение этих фраз было бы нежелательным» (цит. по копии, хранящейся в моем личном архиве. – К. А. Письмо основывается на дневниковых записях П. Лукницкого; см.: Лукницкий П. Глазами очевидца. / Публ. В. К. Лукничкой // Аврора. 1988. № 2. С. 40–44).

⁴² Берман Л. По следам Есенина. Воспоминания (1977) // Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 1250. ¹ 20. Л. 4–6.

⁴³ Письмо П. Мансурова к О. И. Синьорелли от 10 августа 1972 г. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. Париж, 1989. С. 171–174. Содержание этого письма опровергается более достоверными воспоминаниями Эрлиха и письмом его к В.И.Вольпину; из них явствует, что Мансуров заходил к Есенину 25 декабря. Но, может быть, Мансуров забегал еще раз – ведь он жил совсем рядом, на Морской?

⁴⁴ Деталь вполне правдоподобная. 23 декабря, за несколько часов до отъезда в Ленинград, в разговоре с А. И.Тарасовым-Родионовым Есенин сказал (в ответ на реплику своего собеседника о том, что ленинградская литературная «шатаия», узнав о приезде Есенина, «облепит» его и «завертит»): «О нет, я прикажу швейцару никого не пускать» (Тарасов-Родионов А.И. Последняя встреча с Есениным // С. А. Есенин. Материалы к биографии. С. 251).

⁴⁵ Устинов Г. Годы восхода и заката. (Воспоминания о Сергее Есенине) // Памяти Есенина. С. 88.

⁴⁶ Устинова Е. Четыре дня Сергея Александровича Есенина // Сергей Александрович Есенин. Воспоминания. С. 236.

⁴⁷ В сущности, в 1935 г. в СССР появились лишь две (и притом – вульгарно-критические) статьи, посвященные Есенину: Селивановский А. Есенин // Литературная учеба. 1935. № 1. С. 38–53; Селивановский А. Через десять лет // Литературная газета. 1935. № 71. 24 декабря. С. 3. Кроме того, имя Есенина проскальзывало, хотя и не часто, в некоторых обзорных статьях. Книг Есенина, как и публикаций его произведений за весь 1935 г. не было ни одной (см.: Карпов Е. Л. С. А. Есенин. Библиографический справочник. М., 1972; Русские советские писатели. Поэты. Библиографический указатель. Т. 8. С. А. Есенин. М., 1985; и др.).

⁴⁸ Ранний звонок в шесть утра, скорее всего, – ошибка памяти Гариной. Однако вопрос, когда был в действительности обнаружен висельник, – далеко не праздный. Не только воспоминания Гариной, но и некоторые другие источники позволяют предположить, что слухи о смерти Есенина распространились по городу раньше, чем в половине одиннадцатого (официально объявленное – через «Красную звезду» – время обнаружения трупа). Так, В. А. Рождественский пишет в своих воспоминаниях про «туманное колючее утро, более похожее на сумерки, когда он, придя в Госиздат, узнал о случившемся от П.Н. Медведева (*Рождественский В. Сергей Есенин* (из книги «Повесть моей жизни») // *Звезда*. 1946. № 1. С. 112). В позднейшей редакции к эпитетам «туманное» и «колючее» прибавляется слово «раннее» (*Рождественский В. Страницы жизни. Из литературных воспоминаний*, М., 1974. С. 260). Можно заключить, что это было между 9 и 10 часами утра. Впрочем, упомянутое Рождественским «раннее утро» противоречит его же собственному описанию случившегося в этот день (в письме к В. А. Мануйлову от 28 декабря 1925 года): «Утром, в двенадцатом часу, жена Г. Устинова <...> вместе с петербургским имажинистом В. Эрлихом постучались в есенинскую комнату» (О Всеволоде Рождественском... С. 58). Сама Устинова в своих воспоминаниях точного времени не назвала, а комендант «Англетера» В.М. Назаров дал показания, что Устинова обратилась к нему между 10 и 10.30). Писатель Н.Н. Никитин вспоминал: «*Рано утром* (курсив мой. – К. А.) на третий день праздника из «Англетера» позвонил Садофьев. Все стало ясно» (*Никитин Н. О Есенине* // *Звезда*. 1962. № 24. С. 146). На более ранний час указывает и цитированная выше запись Л.В. Бермана. Так или иначе, ясности в этом вопросе нет.

⁴⁹ *Устинов Г. Мои воспоминания об Есенине* // Сергей Александрович Есенин. Воспоминания. С. 167.

⁵⁰ См. выше примеч. 40.

⁵¹ «От одного стакана вина он уже хмелел и начинал расходиться», – вспоминал поэт В.Ф. Наседкин. И далее: «Хмелея, Есенин становился задирой. Оскорбить, унижить своего собеседника тогда ему ничего не стоило» (*Наседкин В. Последний год Есенина* (из воспоминаний). М., 1927. С. 29–30). См. также в записях Э. Я. Германа: «Пил он в последние годы плохо. Хмелел сразу, как хмелеют непривыкшие к алкоголю» (Герман Э. Я. Из книги о Есенине // С. А. Есенин. Материалы к биографии. С. 162).

⁵² *Устинов Г. Мои воспоминания об Есенине* // Сергей Александрович Есенин. Воспоминания. С. 168.

Эта же версия смерти Есенина, согласно которой поэт не собирался кончать с собой, а хотел лишь симулировать самоубийство, изложена (со ссылкой на С.А. Клычкова) и писателем В.Е. Арговым (см.: *Аргов В. Е. Из воспоминаний*. Публикация В. Ф. Тендер // *Минувшее. Исторический альманах*. Вып. 17. М. – СПб., 1994. С. 191).

⁵³ *Устинова Е. Четыре дня Сергея Александровича Есенина* // Сергей Александрович Есенин. Воспоминания. С. 237.

⁵⁴ *Устинов Г. Сергей Есенин и его смерть* // *Красная газета*. Веч. вып. 1925. № 314. 25 декабря. С. 4.

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ «Ужасающие подробности» о смерти Есенина передавал, например, художник В.С. Сварог, который утром 28 декабря выполнил для «Красной газеты» несколько зарисовок вынутого из петли поэта. «*Есенин на полу*, – рассказывал Сварог, – *руки в крови* <...> *вмятина на лбу. Милиция, протокол*...» Рассказ Сварога записал в своем дневнике 30 декабря художник В. В. Воинов, тут же отметивший: «Сварог не мог рисовать – внутреннее чувство протеста». Еще ранее, 28 декабря, В.В. Воинов записал: «Умер (повесился) С. Есенин» (Сектор рукописей Государственного Русского музея. Ф. 70. № 588. Л. 129–129 об.).

⁵⁷ Из письма В. А. Рождественского к В. А. Мануйлову от 28 декабря 1925 г. явствует, что П.Н. Медведев (первый из ленинградских писателей, узнавший о смерти Есенина) был извещен об этом одним из сотрудников «Красной газеты» (О Всеволоде Рождественском... С. 57).

⁵⁸ «Вчера в 10 1/2 ч. утра в гостинице “Англетер” был обнаружен повесившимся на трубе парового отопления поэт Сергей Есенин, несколько дней назад приехавший из Москвы.

Накануне вечером С. Есенин просил администрацию гостиницы не допускать к нему в номер никого, так как он устал и желает отдохнуть» (Красная газета. Веч. вып. 1925. № 314. 29 декабря. С. 4).

⁵⁹ Петр Иванович Чагин (наст. фамилия – Болдовкин; 1898–1967), близкий знакомый Есенина, был назначен на XIV съезде ВКП(б) ответственным редактором «Красной газеты»; приступил к своим обязанностям в феврале 1926 г.

⁶⁰ В целом «Мои воспоминания об Есенине» дают более приглаженный, более «ровный» образ поэта, нежели «Годы восхода и заката». Так, в сборнике «Памяти Есенина» читаем: «За последние годы он (Есенин – К. А.) был у меня раз пять-шесть, всегда в тяжелом состоянии опьянения, плакал и скандалил, скандалил и плакал... Он стал невыносим, это был совсем другой Есенин <...> У него были мучительные порывы вырваться из цепких лап болезни, он бросал пить и срывался снова» (Устинов Г. Годы восхода и заката. (Воспоминания о Сергее Есенине) // Памяти Есенина. С. 87). В «Моих воспоминаниях об Есенине» эти слова отсутствуют. Впрочем, и в третьем варианте этих воспоминаний Устинов, несколько смягчая то, что связано с «закатом» Есенина, отнюдь не умалчивает о его подавленности и душевном надломе в последние годы жизни, о его болезни и пьяных выходках. В этом плане его воспоминания (в обоих вариантах), как и вообще воспоминания о Есенине того времени, заметно отличаются от более поздней мемуаристики 1960-х и 1970-х годов, выставлявшей поэта вполне здоровым, психически полноценным человеком.

⁶¹ Разобраться в этом вопросе (важнейшем, коль скоро речь идет о последних днях Есенина) пытался и В. И. Кузнецов. В своих работах 1990-х годов он выдвинул фантастическую версию о том, что никакой Е.А.Устиновой на самом деле не было, а под этим именем скрывалась А. Я. Рубинштейн (1892–1937; расстреляна), журналистка и партийный работник, в 1922–1925 гг. – ответственный секретарь вечерней «Красной газеты». Е.А.Устинова и А.Я.Рубинштейн, по убеждению Кузнецова, – одно и то же лицо. «Уголовно-политическая авантюристка» («красногазетчица» и «сатана в юбке»), поднаторевшая «в кровавых интригах», Анна Яковлевна якобы приложила руку к убийству Есенина, а затем сочинила за Елизавету Устинову (попутно и за самого Устинова) вымышленный рассказ о последних днях Есенина (см.: Кузнецов В. Убийство Сергея Есенина (мифы и действительность) // Наш современник. 1995. № 2. С. 194–196; Кузнецов В. Тайна гибели Есенина. С. 137–148 и др.).

В действительности Е. А. Устинова (1898? – ?) – лицо реальное. Из протокола опроса, составленного участковым надзирателем Н.Горбовым 28 декабря 1925 г., явствует, что она была уроженкой деревни Логиново (Логиновская волость Тверского уезда Тверской губернии). Была женой (одной из жен) Г.Ф.Устинова. О ее судьбе практически ничего не известно, и ее очерк об Есенине (единственный текст, появившийся в печати под ее фамилией) не столько проясняет, сколько запутывает обстоятельства смерти поэта.

⁶² Самоубийство поэта Сергея Есенина // Новая вечерняя газета. 1925. № 247. 29 декабря. С. 5.

⁶³ Устинов Г. Мои воспоминания об Есенине // Сергей Александрович Есенин. Воспоминания. С. 163.

Н. М. Гарина

**ВОСПОМИНАНИЯ О С. А. ЕСЕНИНЕ И Г. Ф. УСТИНОВЕ,
НАПИСАННЫЕ В ТОЛСТОВСКОМ ДОМЕ**

Публикация и комментарии К. М. Азадовского

О каждом из писателей я пишу отдельно, но об этих двух ярких представителях литературной богемы, об этих двух самородках – детях деревни я не могу написать раздельно, так как все самые яркие моменты, описываемые мною здесь, тесно связаны друг с другом... Тесно связаны с обоими...

Есенин и Устинов – две жертвы косности, распада и разложения той эпохи, которая их воспитала. В которой их слабые, восприимчивые души получили первое впечатление... И первые жизненные уроки...

В меньшей степени это можно отнести к Есенину... В большей – к Устинову.

Есенин не знал цены жизни... Не успел хлебнуть и всей тяжести ее, войдя в жизнь сразу же известным... Сразу же признанным... Сразу же любимым поэтом...

Устинов, наоборот, знал и жизнь, и цену ей, хорошо и тяжело приобретал все права на нее, преследуемый неудачами и разочарованиями...

Есенин унес из деревни память о покосившейся избушке... рваном зипуне. Унес память о вечной нужде, темноте и косности... И сумерки, и закат идей и настроений большого города – он принял за рассвет... За утро своей жизни...

У Устинова к впечатлениям деревни примешивались еще и трудные дни бурлачества... Изнуряющие условия кочегара... Каторжная работа грузчика... Беспрерывная, беспринципная, изнурительная работа эта притупляла разум...¹ Чувства... Человек становился машиной и начинал жить, заливая водкой свои желания... Стремления... и мысли.

Есенину сразу улыбнулась капризная, изменчивая богиня славы, и город показался ему лучезарным... Люди... пленительными...

Он без разбора начал подражать кажущимся ему «кумирам», которые, вместо <того чтобы> ковать и лепить из мягкой, податливой, неуравновешенной природы деревенского юноши – требовательного к себе поэта, – увлекли его на скользкий, пьяный путь богемы в худшем смысле этого слова...



Фотография Г. Ф. Устинова из альбома
Н. М. Гариной

Устинова по шаткому, колеблющемуся пути широкого «расейского» разгула повела узкая, калечашая и непомерно тяжелая «расейская» жизнь...

Слава Есенина сразу перевернула в нем всю его психику – он стал развязным... Распущенным... Развращенным... Стал искать общества «меньших», находя только в нем удовлетворение своему неограниченному самолюбию... Самомнению и самогурству...

Устинов, наоборот, старался окружать себя людьми более положительными и серьезными, зачастую большими, чем он сам, полный жажды дальнейших знаний... Стремлений и исканий...

И учился... Многому и много учился, добиваясь трудом и упорством своими определенного места в жизни и в журналистике...

К концу жизни Есенин жаждал лишь все большей и большей славы...

Устинов – все большего и большего спокойствия...

Воспоминания о Есенине и Устинове – это воспоминания о двух талантливых, но прищемленных жизнью людях, которые принесли на своих молодых, но уже сгорбленных плечах – тяжелый груз наследства в обновленную, возрождающуюся родину свою.

И не сумели возродиться вместе с нею!..

1

Я знала Есенина совсем еще юношей... Прекрасным, скромным юношей...

Сын крестьянина Рязанской губернии, Сергей Есенин с девятилетнего возраста стал писать², и приблизительно семнадцати-восемнадцатилетним юнцом он появился в Петербурге...³ Связался с поэтами Блоком, Клюевым, Андреем Белым и другими и сразу же начал печататься⁴.

Это было приблизительно в десятом, одиннадцатом году...

Тогда именно я с ним и познакомилась⁵.

В этот же приблизительно момент имя Сергея Есенина стало сразу же известным в широких литературных кругах, и одно из первых же его напечатанных стихотворений «Лиса» обратило на себя внимание⁶ – стихотворение, в котором юноша давал яркую картину и смерти, и предсмертных переживаний.

Он часто заходил к нам. Читал свои произведения. Делился с нами городскими своими впечатлениями...

Но чем больше росла его слава, чем прочнее входил он в ряды крупных русских поэтов, тем чаще начал пропадать он в различных увеселительных и зланных местах, губительно развращавших его нетронутую деревенскую психику, впитавшую в себя, как губка, все худшее от городской культуры и цивилизации.

Есенин как-то молниеносно отбросил от себя деревню и глубоко внедрился в богему, став сразу же одним из самых видных, но и самых непривлекательных представителей ее.

Он окружил себя, вернее, его окружила узким кольцом группа такой же юной молодежи – поэтов.

Поэтов даровитых и бездарных...

Но в большинстве своем – самовлюбленных, распушенных и развязных...

И не будь никому в обиду сказано – это все было началом роковой развязки Есенина.

Его гибелью...

Есенин пустился, как говорится, «во все тяжкие». Начал пьянствовать и дебоширить... И чем дальше, тем больше... Одним словом, начал терять постепенно свою скромность, свой разум, пропивая и то, и другое и проявляя все большие и большие симптомы настоящего отравленного уже и новой «жизнью», и винными парами алкоголика.

Я не читала ничьих воспоминаний о Есенине, которые несомненно существуют...

Я и не хочу их читать...

Я прочла лишь после его смерти вскоре статью Бориса Лавренева, полную настоящей крепкой правды⁷. Статью, очень многим тогда не понравившуюся, но под которой я лично подписывалась и тогда. Подписываюсь и сейчас полностью и безоговорочно.

Я знала хорошо его жизнь...

Приблизительно в конце 15-го, 16-го года мы его уже почти совершенно потеряли из вида и питались лишь чудовищными слухами и о нем, и о его «похождениях»...⁸

Его связь с Айседорой Дункан – женщиной, годившейся ему в бабушки...⁹

Его путешествие за границу...

Его последние произведения были уже, несомненно, тем тревожным сигналом в его жизни, над которым следовало серьезно призадуматься и поддержать вовремя этого талантливейшего самородка.

Но было некому...

Короче говоря, колесо его жизни – быстрым темпом покатилося к неминуемой роковой гибели...

Колесо его жизни – потеряло равновесие.

3

Приведу сейчас здесь один маленький, случайный, никому не известный эпизод.

Во время пребывания Есенина за границей один из старых товарищей моего мужа, капитан парохода дальнего плавания, в один из совершаемых им рейсов за границу попал по назначению в Англию.

Войдя случайно в какой-то кабачок, капитан увидел настоящее побоище, в центре которого был русский поэт – Сергей Есенин, дошедший в своей «решительности» до апогея – бросавший в иностранцев всеми попадавшими ему под руку предметами, «благодарностью» и также метко возвращавшимися ему его противниками обратно... Есенин был один среди многих...

Капитан быстро подошел к Есенину. Хотел остановить его, успокоить. «Протрезвить» его родным ему наречием – рука Есенина так же смело и непринужденно пошла по направлению и капитана.

Есенин «угостил» иностранцев, но и они, несомненно, также не остались у него в долгу, вернув ему все стоищею...¹⁰

По-видимому, одним из главнейших мотивов, по которым Есенин и отправился в далекие, чужеземные края, и было его непреодолимое желание – испробовать и соразмерить свои силы с неведомыми ему... чужеземными...

4

В приводимых мною воспоминаниях о Устинове я должна дать маленькую картину всей фигуры и того, кто с Есениным близко соприкасался. Крепко любил его... И при котором Есенин закончил и жизненные счета свои.

Мысль писать мемуары подал мне Устинов.

Как-то после большой дозы нашатырного спирта, принятого им из моих рук для протрезвления, он смотрел на меня долго и пытливо, и в его взгляде никак нельзя было уловить – восторгается ли он мною как «скорой помощью» или же, наоборот, критикует!

И вдруг он неожиданно отчеканил:

«Не трать на нас зря и силы, и нервы свои! Начни лучше писать мемуары... Ты должна это сделать. У тебя громадный материал!..»

«Материал-то весь "алкогольный", – рассмеялась я.

«А ты попробуй... Начни только... Мы и пить станем меньше!!!»

Устинов был большим, вернейшим другом нашей семьи.

На книге Устинова «Литература наших дней»¹¹ – следующая надпись:

«*Лучшему из самых лучших друзей, Нине Михайловне Гариной, в память об общих радостях и общих печалях.*

От автора.

Георгий Устинов. 16.2.<19> 24 г.»¹²

Устинов также сын крестьянина.

Также одаренный человек, в особенности в роли редактора и критика.

Знал Устинов и русскую, и иностранную литературу «назубок». Тонко разбирался в ней и обладал настоящим литературным вкусом и чутьем.

И как фигура человека – Устинов был, бесспорно, фигурой более выпуклой. Более интересной. И более ценной, чем «Сереженька», как обычно Устинов Есенина и называл.

Среди писательской братии все без исключения хорошо знавшие Устинова называли его вместо Георгия французским именем «Жорж», которое подходило ко всей его фигуре так же, как «бричке седло».

Высокого роста, плотный, неуклюжий, громоздкий даже, на вид грубый, – Устинов на деле был скромным и деликатным человеком. С большой нежной душой. Честным, прекрасным человеком и таким же товарищем.

Говорил Устинов с сильным нажимом на букву «о» и с четко произносимой им буквой «г», что придавало всей речи Устинова специфический оттенок, также с французской речью ничего общего не имеющий...

Самоопределил себя Устинов бесподобно, коротко и ясно, но весьма горько: «Я мерзавец своей жизни».

Личная обстановка Устинова состояла из трех элементов:

Книг.

Бутылок.

И одной пишущей машинки.

Книг открытых и закрытых...

Бутылок открытых и закрытых...

И пишущей машинки – чаще закрытой...

С бутылками Устинов расставался... Но только... с пустыми...

С книгами же и пишущей машинкой Устинов не расставался никогда...

Устинов мог иметь несомненное влияние на Есенина как человек и значительно сильнее и намного старше Есенина. Мог, несомненно, также многое

и направить в жизни Есенина, предотвратить, если бы, увы, он сам не был также настоящим, неизлечимым алкоголиком и изломанным, искалеченным человеком. В этом и была вся грама... Все несчастье обоих...

Но Устинов в отличие от Есенина очень тяжело переживал этот свой недуг... Презирал себя... Клеймил... И... бросал путь. Но вновь и вновь начинал... Вновь и вновь презирал и клеймил себя. Но возврата не было.

Одно время мы жили бок о бок с Устиновым, тесно и дружно соединив наши жизни, и даже его коллеги приходили прямо в нашу обитель, зная, что Устинова в его свободное время можно застать лишь только у нас¹³.

Тогда Устинов был на ответственной работе в «Красной газете».

Мы проводили вместе долгие хорошие вечера, которых, к сожалению, не вернуть, так как многих из участников их нет уже в живых...

На наш «огонек», как выразился однажды поэт Дмитрий Цензор, шли тогда все, кто знал о нашем переезде из Москвы. Бывали «старики»: Виктор Рышков, Николай Клюев, Сергей Городецкий, Владимир Воинов¹⁴ и др.

Бывала и молодежь – Илья Садофьев¹⁵, Сергей Семенов¹⁶, Всеволод Иванов и т. д.

И постоянным, неизменным «атташе при нашем посольстве» был неизменный наш «Жорж», всегда почти подогретый винными парами, но крепко обычно державшийся на ногах...

Много раз я приводила этого нашего «Жоржа» к жизни: «откачивала»...

И к чести его будь сказано – никогда он в таком виде не появлялся у нас, а вызывал лишь меня по телефону обычной своей фразой: «Пойди, пожалуйста, ко мне... Мне плохо...»

Я знала точно всегда, в чем дело, и несла с собою... нашатырный спирт...

И первой фразой его, также обычной, встречавшей меня, как бы «плох» он ни был, была: «Прости... Мне плохо... Я мерзавец своей жизни...»

И это «мерзавец» в устах Устинова не было тем злостным определением, которое мы привыкли подразумевать... Это его «мерзавец» было его... тоской. Неуверенностью в себе... Психической шаткостью, его падением, которых он, этот сильный когда-то человек, не мог уже никак побороть в себе, прекрасно все это сознавал... и переживал...

И я вспоминаю, как однажды в три часа ночи Устинов сообщил мне по телефону радостную новость, что он привез мне «оркестр», чтобы мне «не было так скучно».

И действительно среди ночной тишины на весь дом разносились какие-то странные, но «боевые» звуки музыки...

Я бросилась к нему в комнату, которая находилась в этом же коридоре, и обомлела: посреди комнаты с бутылкой в руках стоял Устинов, этой же бутылкой дирижирующий, и вокруг него четыре человека с инструментами в руках в таком же, как и он сам, виде... Игравшие каждый – кто что хотел...

Никакие мои просьбы и мольбы прекратить это безобразие не помогали. Наоборот, Устинов, по-видимому, обиженный моей и нечуткостью, и капризами, продолжая дирижировать, лепетал: «Я тебе оркестр привел, а ты же еще и недовольна».

Наконец, после долгих испытаний, мне удалось уложить, вернее, свалить и дирижера на кровать, и оркестрантов – кого где попало...

Но не успела я еще очнуться от одного «сюрприза», как меня оживал уже – второй.

Войдя утром в комнату Устинова, я застала «дирижера» еще сладко спавшим, убаюканного, по-видимому, звуками «симфонического оркестра».

И «оркестрантов», уже проснувшихся, небрежно и с «негой» развалившихся на полу с дирижерскими папиросами в зубах...

Я предложила артистам собраться и идти по домам и вдруг услышала фразу: «Уплатите сто рублей, тогда мы и уйдем...»

Это был момент, когда вышли только что первые червонцы...

Дирижер, синий и распухший, продолжал сладко спать, предоставив мне одной переживать всю «скромность» несслыханной этой цифры...

Суммы этой у меня не было. Да, откровенно говоря, я и побаивалась вступать в разговор с этими неизвестными мне людьми, тем более что и муж мой как раз в этот момент был в командировке...

И я вызвала на помощь Илью Сагофьева...

Никогда ничему не удивлявшийся Сагофьев и тот опешил... Мы вдвоем еле еле собрали половину требуемой «артистам» суммы, которую я и вручила им при полном неожиданном молчании их и согласии.

Спустя несколько часов я заглянула к «дирижеру». Он смотрел на меня, улыбаясь во весь рот...

Рассказала я ему про «оркестр», ни слова не упомянув о расплате.

Он лежал все еще в пальто и пристально смотрел на меня, будто не веря...

И вдруг все вспомнил...

Покраснел... Сразу как-то встrepенулся... и вновь чуть слышное «прости» – отдаленным эхом прошло по комнате.

Взор его устремился куда-то вдаль...

В такие минуты возмущение мое обычно исчезало и таяло от теплых слез, большой грусти и обиды за друга, катившегося также в пропасть...

Он протрезвел и смотрел вновь на меня...

Затем встал и молча начал шагать, но не долго – он, как вкопанный, остановился у столика с пишущей машинкой, которой на столике не оказалось.

Весь хмель его исчез окончательно.

Мы вдвоем перевернули всю комнату – машинки не было. На вешалке не оказалось и половины «буржуазного» гардероба Устинова, в который «артисты», по-видимому, и облачились, пока «дирижер» их почивал...

Наконец я догадалась заглянуть в темный угол, за кровать, и нашла ее там загвинутую в самую глубь...

По-видимому, артисты и ее приготовили к выносу...

Устинов стоял глубоко сконфуженный и растерянный.

И так было много, много раз.

И вот сейчас передо мною стоят два Устинова: один – непоколебимой честности... Порядочности... Крепкий... Мудрый... И культурный...

И второй – подогретый и одурманенный винными парами. В компании жалких людей...

И становится жутко...

Жутко сознание, что Устинов, имевший все права идти вперед...

Быть руководителем и наставником не только Есенина, катившегося в пропасть, но и многих и многих других, – сам был худшим для них примером.

5

В двадцать третьем году приблизительно мы расстались с Жоржем, с нашим «Зам. папой» – как Устинов называл себя в нашей семье.

Как-то Устинов, провожая мужа моего в командировку, сказал: «Уезжай спокойно. Остается Зам. папа. Будут ли дети твои сыты – не знаю. Но что пьяны будут – это наверно».

С ним уехал и наш «хмель».

Он изредка заглядывал к нам из Москвы... Заглядывал на короткие сроки...

6

В двадцать пятом году Устинов появился в Ленинграде¹⁷, но на более продолжительный срок, о чем он мне сразу же и заявил.

Пришлось устраивать его где-либо помимо нашей квартиры, хотя и очень обширной, так как мужу моему становилось все хуже и хуже.

И я устроила его в одной из ленинградских гостиниц, что также было весьма трудно ввиду полного отсутствия в тот момент каких-либо жилых помещений...

Вслед за ним появился вскоре и Есенин, которого я также устроила в той же гостинице¹⁸ благодаря знакомству с одним из ее сотрудников – большому поклоннику литературы и искусства...

О приезде Есенина Устинов сообщил мне с несказанной радостью, и дня через два-три они вместе пришли к нам.

Пришли оба сильно выпившие, но Устинов, как всегда, корректный и культурный, Есенин, наоборот, развязный и даже наглый...

Устинов успокаивал расхолодившегося «Сереженьку», но ничего не выходило, и все, что взбрело в тот момент в одурманенную голову поэта, он нам и преподносил, ни с кем... и ни с чем не считаясь.

Все это было настоящим и пошлым бахвальством...

В конце концов я не вытерпела и после его выкрика: «Я – бог», «Я – все», «вы все ничтожества» – сильно и неожиданно для себя самой схватила Есенина за руку... и... выкинула его за дверь... закрыв ее за собой...

Устинов как-то съезжился и просящим голосом начал уговаривать меня «пустить Сереженьку обратно».

Я не соглашалась, мотивируя свой отказ, что «Сереженьке надо прийти в себя».

И, действительно, неожиданное положение, в котором Есенин очутился, сразу привело его в «себя» и протрезвило. И он вошел к нам обратно тихим и спокойным, как ни в чем не бывало...

В этот вечер после ужина Есенин много читал нам...

Читал прекрасно... Вдохновенно... Незабываемо...¹⁹

7

Дни шли...

Устинов появлялся у нас ежедневно...

Есенин же пропал бесследно. И я умышленно о нем не спрашивала Устинова.

Обижен ли был Есенин на меня... Замотался ли он окончательно – не знаю, но последнее предположить можно было свободно, так как за этот короткий промежуток времени он успел уже устроить несколько скандалов и дебошей...

И один из них на вечере у Ходотова...

Скандал, как говорится, на весь город...

Кто-то... что-то не так ему сказал... А может быть, не так и посмотрел...

Он запустил бутылкой...

В ответ полетела вторая...

Одни из присутствующих стали на сторону Есенина... Другие на сторону его противника...

И опять «произошел бой» при непосредственном и благосклонном участии и инициативе Есенина²⁰.

Этот громкий скандал у Ходотова заставил, по-видимому, московского гостя «скрыться» на время от публики и искать «тихое семейство».

Вспомнил он и о нас.

И пришел вновь. И вновь с Устиновым. И оба выпившие, но, к сожалению, не вновь...

Мы сидели в столовой и пили чай.

В этот вечер мы были не одни, у нас в гостях был один из врачей-хирургов²¹, очень обрадовавшийся встрече и знакомству с Есениным и неоднократно, при моем содействии, уговаривавший Есенина в этот вечер прочесть что-либо...

Есенин «ломался»...

И вновь, и вновь – с самовлюбленным выкриком... Неизменным бахвальством и пьяным пренебрежением, которое <с которым?> он и кидал нам, присутствующим, кажется, и на сей раз всех «богов»...

Но и у меня «вновь» начала «чесаться» рука.

Есенин, по-видимому, вспомнил «старое». Успокоился. И прочел два или три из своих стихотворений. Прочел так же, прекрасно. Так же вдохновенно, как бы перевоплощаясь в далекое ему уже и безвозвратное прошлое.

Врач слушал восторженно и внимательно, но все упорнее и упорнее не сводя с Есенина глаз.

И когда чтение окончилось, он вдруг совершенно неожиданно обратился к Есенину с вопросом, не болит ли у Есенина нос.

Есенин замялся... И ответил отрицательно.

Попросив разрешения пройти ко мне в спальню, врач попросил туда же и меня, и Есенина и, поставив Есенина вплотную перед собой, он быстро обеими руками вправил Есенину поврежденную, по-видимому, переносицу.

Есенин «смирился» и стоял сильно смущенным.

Ни я, сидевшая рядом с Есениным, и никто из остальных присутствовавших не заметили совершенно неуловимого простым глазом дефекта в лице Есенина, кроме опытного глаза хирурга.

На все мои вопросы – как и когда «это» произошло – Есенин неохотно начал рассказывать мне о «падении его с лошади» во время верховой езды.

Где и когда «катался верхом» Есенин... В каком «помещении» – так и осталось покрытым мраком неизвестности.

Но... как катался Есенин – было ясно...

Об этом «падении» не знал ничего и Устинов, давший мне в этом слово...

Прощаясь, уходящий врач дал Есенину карточку с указанием места нахождения клиники, времени приема и тому подобное, искренне советуя Есенину обязательно на другой же день зайти к нему на прием...

Есенин также искренне поблагодарил...

И через неделю, если не более, на мой вопрос, был ли Есенин в клинике, я услышала отрицательный ответ хирурга.

8

Телефона в номере гостиницы Устинова не было...

Телефон был лишь внизу, в швейцарской, куда Устинов и сходил обыкновенно говорить.

Около часа ночи в моей комнате раздался телефонный звонок...

Все, кроме меня, уже спали.

Я подошла и услышала совершенно незнакомый мне голос, спрашивавший меня.

И на мой утвердительный ответ последовала фраза: «С Вами сейчас будут говорить».

А затем и голос Устинова, приветствовавший меня в этот день вторично и сообщивший мне, что он с Сереженькой собираются к нам! И что Сережа стоит тут. В ответ я начала доказывать Устинову, что «очень поздно». Что мы уже все спим. И, чувствуя по голосу Устинова, что он выпивши, – я высказала ему и это.

Он начал меня разуверять.

Тогда я вставила второй, более веский мотив – болезнь моего мужа и необходимость ему полнейшего спокойствия.

Устинов принялся доказывать мне, правда, в весьма осторожной форме, что они оба «не дети... ни шуметь, ни мешать никому не будут». И закончил: «Подожди... С тобой хочет говорить Сережа...»

Когда заговорил Сережа – никаких сомнений уже не было, что оба они «готовы».

В особенности «Сережа».

И я в категорической форме узреть опять их в таком виде и в такой поздний час, да что самое главное – при наличии в квартире больного, наотрез отказалась и очень дружески, дабы их не обидеть, закончила:

«Сереженька, завтра приезжайте хоть в шесть утра. Я буду очень и очень рада... Но сегодня... Проспитесь... Сегодня не надо...»

В ответ я услышала отчетливую и «убедительную» фразу:

«То есть как это не надо, раз... мы этого хотим».

И вот это «мы», да еще чаще повторяемое Есениным «я» вновь взорвало меня, и я резко и коротко оборвала разговор:

«Ты опять пьян... Раньше... протрезвись!...»

Даже моему бесконечному терпению и то пришел конец...

9

Ночью...

В эту же ночь меня разбудил телефонный звонок...

Недоумевая, в чем дело, я прежде всего схватила близлежавшие на столике часы и, совершенно еще сонная, услышала в телефонную трубку чей-то незнакомый голос и опять, как накануне, спрашивающий меня...

А затем и единственную короткую фразу: «Есенин приказал Вам долго жить!...»

Было часов шесть утра...²²

Я сразу ничего не поняла... Все прошло сквозь мой слух, как отдаленное трудно уловимое эхо...

Но затем я как-то сразу проснулась... Появился сильный озноб... И, приходя окончательно в сознание, я начала кричать в телефон:

«Кто говорит? Алло! Алло!»

Ответа не было... Полная тишина...

Я, вероятно, давно была разъединена...

Какое-то странное, я бы сказала, жуткое даже чувство – чувство непреодолимого, непонятного страха подкрадывалось ко мне... Овладевало мною...

И вдруг взамен, также неожиданно и быстро, я была во власти другого уже чувства – чувства страшнейшего возмущения, вернее, негодования, выраставшего постепенно в неприязнь, так как я ничуть уже не сомневалась, что Устинов и Есенин, оставшись вдвоем после разговора со мною, допились «до чертиков» и, решив «отомстить» мне за мой отказ встретиться с ними накануне, решили «разыграть» меня, специально и подговорив кого-то сообщить мне эту «веселенькую» историю.

Успокоенная этими своими доводами и предположениями, но все еще полная негодования, я решила действовать и впервые за долгие годы верную дружбу высказать наконец Устинову несколько теплых слов правды и этим разговором убедиться окончательно и в их несомненном разыгрывании меня...

Окончательно и успокоиться...

Я соединилась с гостиницей...

«Попросите, пожалуйста, Устинова», – сухо сказала я.

«Он подойти не может»²³, – так же сухо услышала я ответ.

«Тогда попросите Есенина», – с непонятной, вновь появившейся тревогой попросила я.

«Он также подойти не может...»

Сердце начало леденеть... И я стремительно начала бросать в телефонную трубку вопросы:

«Почему они оба подойти не могут?.. В чем дело? Скажите, что их просит Нина Михайловна!..»

В комнату ворвался холодный отчетливый ответ:

«Есенин скончался... Да Вы же сами вчера не пустили его к себе...».

«Разыгрывание» оказалось жуткой, непосильной истиной...

Трубка выпала...

Смерть Есенина...

Есенина, только вчера еще говорившего со мною...

Только несколько часов тому назад говорившего со мною...

Этот жуткий непростительный упрек, брошенный мне... Брошенный кем-то... Неизвестным... Не упрек даже, а целое тяжкое обвинение... Что такое?.. Кто говорил

все это?.. Что делать?! Не может быть! Вот мысли, которые, сутолочно толкаясь в моем возбужденном мозгу, перебивали друг друга...

И я опять схватила трубку...

Опять говорила с гостиницей... Опять говорила с кем-то... И опять ни до чего не договорились...²⁴ И все же... Несмотря ни на что – сомнение было... поверить не хватало ни разума... Ни сил...

Рано утром я мчалась через весь город на извозчике в гостиницу – ничего не соображая. Совершенно раздетая... В халате... В незастегнутой шубе... Незастегнутых ботах...

На улице было тихо, но серо, как в мыслях...

11

В комнате Устинова был форменный разгром.

У стола Устинов черно-лилового цвета. Сгорбленный. Осунувшийся.

Кроме него – еще несколько приехавших уже писателей²⁵.

Все растерянные... Все молчаливые... Также сраженные этой смертью.

Сомнения не было...

И не здороваясь ни с кем... Сейчас уже окончательно добитая истиной, я кинула сигевшим: «Ну что, доигрались?! Сделали свое дело?! Теперь поздно!.. Случилось то, что давно случиться и должно было...»

И вдруг глухой, далекий, сдавленный голос Устинова тихо оборвал мои слова: «А ты сама... вчера...»

Никто не понял.

Он не окончил...

Я... опять смолчала...

Постепенно тут же я узнала от Устинова и некоторые подробности этой ночи²⁶.

По словам Устинова, весь вечер и ночь они провели вместе...

Есенин сильно нервничал...

И вскоре после разговора со мною по телефону ушел к себе...

Устинов заглядывал несколько раз к Есенину в номер...

Звал обратно к себе...

Есенин не шел...

К утру его не стало...²⁷

12

Не только самую смерть, но и ту «форму», которую Есенин избрал для самоуничтожения, Устинов никак не мог забыть... А главное... усвоить...

И каждый раз, вспоминая некоторые моменты из их совместной жизни, он с отчаянием заканчивал: «Какую гнусную смерть он, мерзавец, выбрал...»

Но так же неизменно каждый раз он прибавлял:

«Прости, пожалуйста, что я тогда так зверски и незаслуженно тебя обидел...»

И я... опять молчала...

В 32 году я поехала в Москву навестить старшего сына²⁸, и в тот же день с помощью живущих в Москве писателей я взялась за поиски Устинова, которого не видела несколько лет.

Все знали, что Устинов живет где-то под Москвой, но где именно, толком никто ничего не знал...

Наконец я его нашла...

И... обомлела.

Передо мной стоял не Устинов – стояла его тень...

Он подошел ко мне молча – крепко обнял... Поцеловал... Крепко обрадовался встрече со мной... Осунувшийся... Сильно сдвинувшийся... Сильно похудевший... Какой-то... другой...

И первые слова, которыми я его встретила, были: «Слушай, Жоржинька, что это ты у нас так плохо выглядишь...»

И первым его ответом был: «Да... Зам. папа... подгулял, но... бросил пить!..»

Мы сидели долго... Все вспомнили... Но ни звука уже не проронил он ни о Есенине, ни слова не спросил даже и о подробностях смерти своего второго лучшего друга – моего мужа.

Чувствовалось, что и без этого ему вообще как-то тяжело... Что почва и из-под его ног уходит. Уходит медленно, но верно...

Чтобы разрядить атмосферу – напомнила ему про «оркестр». Про пишущую машинку!..

Не рассмеялся, как обычно, а только устало улыбнулся...²⁹

Передал он мне тут же и написанное им письмо к дочери моей:

«Зоя Сергеевна! Друг мой незабвенный – чую я, что лавры Вашего Зам. папы не дают Вам покоя. Как человек теории и практики вопию к Вам: остановитесь, пока не превзошли меня. Тогда мне нечего будет делать на земле...

Итак, я женился 4 раза, но мне уже 45-й год.

Вам почти половина, а Вы вышли замуж уже 2 раза.

Чем это может кончиться к моим годам – не заставляйте меня жениться 5-ый раз!

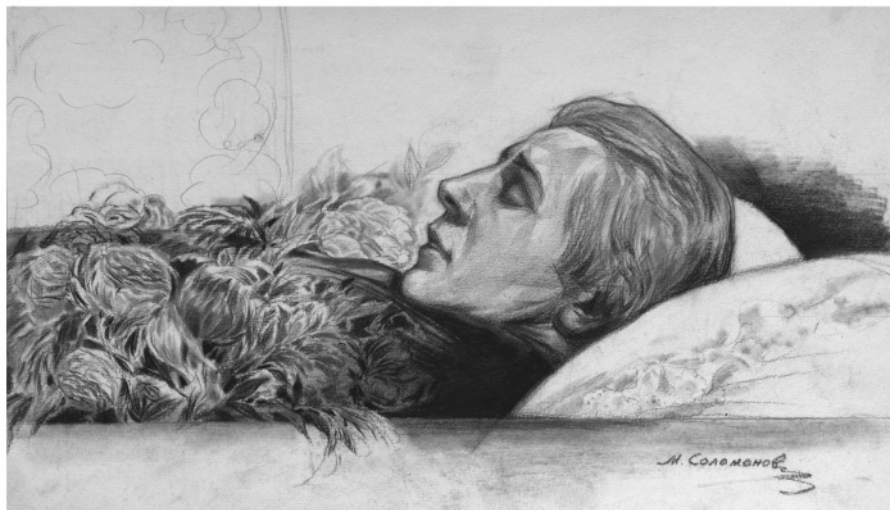
А впрочем... Сердечный привет с моим несокрушимым постоянством в привязанности к Вашей Особе.

Ваш Зам. папа Георгий Устинов

21 июня 1932 г.

Москва.

*И вот еще что: пусть семейство Гариных познает мой московский адрес...»
(полностью его адрес).³⁰*



Сергей Есенин на смертном одре. Рисунок жителя Толстовского Дома М. Соломонова

Больше я его не видела...

Вернувшись из Москвы домой, я рассказала детям о своей встрече с их Зам. папой, которого они искренние любили и уважали, и закончила большой подсознательной тревогой за него...

13

Немного времени прошло с момента этой последней моей встречи с Устиновым в Москве.

В передней раздался звонок, и передо мной стояла первая жена Устинова, с которой он давно уже разошелся³¹, приехавшая, как видно, только сейчас из Москвы, ни слова не успевшая мне еще сказать, как я с сильной тревогой бросила ей нелепый и рискованный вопрос:

«Что-нибудь с Жоржем случилось?!»

«Да», – последовал ее короткий ответ...

«Он лишил себя жизни!» – вдруг вырвалась жуткая, дикая моя фраза.

«Да...»

Все кончилось и... с Устиновым.³²

И сильный когда-то Устинов, так же как и опустошенный Есенин, «такую же гнусную смерть и он, мерзавец, выбрал».

Оставив лишь на столе записку...³³

208

Комментарии К. М. Азаговского

¹ В 1904–1905 годах Устинов работал «матросом на пароходах и баржах» (см. его письмо к Л. М. Клейнборту от 9 мая 1916 г. // ИРЛИ. Ф. 586. № 210. Л. 2).

² Это же утверждал, как правило, и сам Есенин в своих автобиографиях (1922, 1924, 1925; см.: *Есенин С. А.* Собр. соч. Т. 5. М.: 1979. С. 220, 226, 230). Впрочем, в иных случаях поэт уточнял: «Стихи начал писать с 8 лет» (Там же. С. 233, 234), а в одной из анкет 1924 г. указывал, что начал писать стихи в 13 лет (см.: Памяти Есенина. С. 7).

³ В Петербурге Есенин впервые «появился» в 1915 г. «19 лет попал в Петербург проездом в Ревель к дяде», – указывал он в автобиографии 1923 г. (*Есенин С. А.* Собр. соч. Т. 5. С. 223).

⁴ Личное знакомство Есенина с Блоком состоялось в Петербурге 9 марта 1915 г., с Клюевым – в первых числах октября 1915 г., с Андреем Белым – в начале февраля 1917 г. Все эти писатели, бесспорно, оказали на Есенина сильное влияние.

Печататься Есенин начал в 1914 г. (первая публикация состоялась в журнале «Мирок», (1910. № 1): стихотворение «Береза», напечатанное под псевдонимом «Аристон»). В известных московских и петроградских изданиях его произведения стали публиковаться – при содействии С. Городецкого, Н. Клюева, И. Ясинского и других писателей – с 1915 года.

⁵ Возможно, мемуаристка путает здесь Есенина с Клычковым или Клюевым, чье знакомство с Гаринными действительно восходит к 1911–1912 годам.

⁶ Посвященное А. М. Ремизову стихотворение «Лисша» было напечатано в газете «Биржевые ведомости» 10 января 1916 года. В черновых записях Н. М. Гариной имеется уточнение к данному месту: «Однажды у нас на вечере, помню, Лоло (Мунштейн) прочел только что напечатанное его (Есенина. – К. А.) стихотворение "Лиса"» (ИРЛИ. Ф. 736. № 64. Л. 40; при дальнейшем цитировании черновых записей указывается лишь соответствующий лист).

Мунштейн Леонид Григорьевич (1867–1947) – поэт-юморист, один из сотрудников «Сатирикона», обычно печатавшийся под псевдонимом Lolo. После 1917 года – эмигрант.

⁷ Имеется в виду резкая и весьма шумевшая в свое время статья Б. А. Лавренева «Казненный дегенератами» (Красная газета. Веч. вып. 1925. № 315. 30 сек. С. 4), где вся вина за гибель поэта возлагается полностью на его окружение. На статью Лавренева было несколько откликов (см., например: *Финк В.* О казненных дегенератами // Красная газета. Веч. вып. 1925. № 316. 31 декабря. С. 4).

⁸ Явный хронологический сдвиг: слухи о «чудовишных похождениях» Есенина не могли распространиться ранее конца 1918 – начала 1919 года (после его переезда из Петрограда в Москву).

⁹ Осенью 1921 года, когда Есенин познакомился с Дункан, ей было 43 года.

¹⁰ О пребывании Есенина в Англии сведений не имеется, хотя, находясь в Германии, он вместе с Дункан оформлял визы на выезд во Францию и Англию (см.: *Белоусов В.* Сергей Есенин. Литературная хроника. Часть 2. М., 1970. С. 52). Впрочем, описанный эпизод мог иметь место в каком-нибудь другом из европейских или американских городов, где побывал Есенин за время своего заграничного путешествия с 10 мая 1922 года по 3 августа 1923 года.

¹¹ Под таким названием Устинов издал в Москве в 1923 г. сборник своих избранных статей – расширенный и переработанный вариант книги «Интеллигенция и Октябрьский переворот» (М., 1918). В предисловии Устинов указывал, что его статьи, «представляя одно стройное целое – неразрывную цепь, отдельные звенья которой являют собой лишь те ступени, по которым наша интеллигенция переходила в стан ее врагов... и обратно». Тот же текст (без двух последних слов) предварял и книгу 1918 года.

¹² Лист с этой надписью сохранился в альбоме Н. М. Гариной (ИРЛИ. Ф. 736. № 57. Л. 52 об.).

¹³ Речь идет, скорее всего, о 1922–1923 годах, когда и Гарины, и Устинов одно время жили вместе в гостинице «Астория» (семья Гариных занимала в этой гостинице две комнаты – №№ 406 и 530). Ср. письмо Г. Ф. Устинова к С. А. Гарину от 31 августа 1922 г, в котором он просит устроить чету Городецких в его гостиничном номере (Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 146. Оп. 1. № 81).

¹⁴ Воинов Владимир Васильевич (1878–1938) – поэт, прозаик. Сотрудничал в «Красной газете».

¹⁵ И. И. Садофьев в то время был одним из наиболее видных «пролетарских» писателей и журналистов в Петрограде. В 1924 году возглавил созданное в Ленинграде отделение Всероссийского Союза поэтов. Сопровождал в Москву гроб с телом Есенина.

¹⁶ О дружбе С. Семенова с Гариными свидетельствует сохранившаяся в альбоме Нины Михайловны Гариной гарственная надпись Семенова на книге «Голог»: «Сергею Александровичу Гарину – другу и товарищу с сердечным влечением. 27/X 1922 г. Петроград. Автор». Там же – другой автограф Семенова, в котором обращают на себя внимание слова: «Георгий (т.е. Устинов. – К. А.) сказал сегодня, что он и я сопьемся». (ИРЛИ. Ф. 736. № 57. Л. 58 об.). Дата последней записи – 27 июня 1922 года.

¹⁷ Видимо, ошибка Н. М. Гариной; речь ниже идет о событиях 1924 г.

¹⁸ Т.е. в гостинице «Европейская», где Есенин жил в апреле 1924 года несколько дней (приблизительно с 12 по 15 апреля).

¹⁹ Вероятно, с этим визитом Есенина к Гариным связан также эпизод, описанный Ниной Михайловной в окончательном варианте ее воспоминаний:

«Первый вопрос, который задал Есенин, входя в комнату, был относительно моей дочери: "Где она?!" И почему она не выходит к нему никогда?! Я ему ответила, что она лежит больная... У нее – инфлуэнца... И опять Есенин отличился: "Она ведь влюблена в меня?!.. Пусть выйдет!" Вот эта его развязность. Отвратительная самоуверенность... И – самовлюбленность... Больное самолюбие – выводили меня всегда из равновесия. И я не выдержала... И оборвала его на сей раз: "Дурак!.. Брось эти нелепые разговоры... Она и видеть тебя не хочет!.."» (Л. 41 об.).

²⁰ В 1923 году известный артист и чтец-декламатор Н. Н. Ходотов (1878–1932) создал в своей квартире на Невском проспекте своего рода «домашний клуб» – художественный кружок «Живого творчества» под названием «Ложа вольных строителей». В «Ложе», магистром которой был сам Ходотов, устраивались «ночные бдения» – доклады, дискуссии, спектакли и т.п., начинавшиеся поздним вечером и длившиеся обыкновенно до утра. «Весь литературный и артистический мир побывал тогда в моей квартире, куда строгий контроль не пропускал ни одного из "непосвященных", что, однако, не спасло ее от закрытия, – рассказывает Ходотов в своих воспоминаниях. – Одним из последних поводов к нему был скандальный инцидент с покойным Есениным» (Ходотов Н. Близкое – далекое. М. – Л., 1962. С. 273–274).

Этот инцидент упоминает в своей книге и В. Эрлих. «Есенин был на вечере Рины Зеленой в студии Ходотова, – пишет он. – Актер В. подошел к нему сзади и сзади же ударил его со словами: "Ты жидов ругаешь? Получай!" – Все, что произошло до и после этого, равно нехорошо, но инициатива драки была не за Есениным» (Эрлих В. Право на песнь. С. 23).

Описанное событие произошло 20 апреля 1924 года.

²¹ Имеется в виду Анатолий Семенович Максимович (1893–1971), врач-хирург. Максимович был участником гражданской войны, в 1919–1920 годах работал санитаром Петроградского укрепленного района, затем – заместителем председателя Чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемиями. В конце жизни – консультант и главный хирург

Октябрьского района Ленинграда (см.: Вестник хирургии имени И. И. Грекова. 1971. № 10. С. 154. <Некролог>).

²² Ср. в черновой записи: «Часов около пяти утра я проснулась от телефонного звонка» (Л. 42).

²³ После этих слов в черновой записи следовало: «Окончательно перепились», – решила я» (Л. 42 об.).

²⁴ В черновике: «И опять я соединилась с гостиницей, но уже как в гипнозе. Опять говорила... Узнала, что комнату Есенина уже опечатали... Никого не пускают... И т. д. и т. п.» (Л. 42 об.).

²⁵ В черновых записях Н. М. Гариной названы два писателя, которых она застала в комнате Устинова: И. И. Садофьев и Н. Н. Никитин (Л. 43).

²⁶ Любопытно, что Гарина в своих воспоминаниях нигде, за исключением последнего отрывка (см. ниже), не упоминает о Елизавете Устиновой. Не подлежит, между тем, сомнению, что они были хорошо знакомы. Возможно, именно Н. М. Гарина и была той «дамой», которую запомнил П. А. Мансуров, забежавший в «Англетер» днем 28 декабря: «В комнате Есенина, на кровати, сидела жена Устинова с другой дамой...» (Письмо П. Мансурова к О. И. Синьорелли... С. 174).

²⁷ В черновике это место изложено следующим образом:

«Постепенно я узнала тут же от заливавшегося слезами Устинова все подробности этой ночи...

По словам Устинова – они оба после разговора со мной больше ничего не пили.

Есенин очень нервничал весь день...

И вскоре ушел к себе в комнату...

Устинов к нему заглядывал раза два...

Звал обратно посидеть с ним...

Есенин – не пошел...

И в третий раз, когда Устинов пошел опять заглянуть к Сереженьке своему, – его уже не было в живых...» (Л. 43).

²⁸ В действительности Н. М. Гарина ездила в июне 1932 года в Москву для того, чтобы передать в Литературный музей, возглавляемый В. Д. Бонч-Бруевичем, часть архива своего покойного мужа. Остановившись у своего старшего сына Алексея, Гарина прожила в Москве 19 дней (см. ее письма к В. Д. Бонч-Бруевичу // Научно-исследовательский Отдел рукописей Государственной Российской библиотеки. Ф. 369. Карт. 257. № 9).

²⁹ В черновике: «Рассказал мне, что заканчивает пьесу... Собирается сдать ее в театр...» (Л. 49 об.).

³⁰ В черновых записях Гариной указан московский адрес Устинова: Сокольники, Б. Ширяевская, д. 3, кв. 16 (Л. 47).

³¹ Вероятно, Е. А. Устинова.

³² Г. Ф. Устинов покончил с собой около 10 декабря 1932 г. Сообщение о «безвременной кончине советского писателя» появилось в «Известиях» 14 декабря 1932 г. (№ 344. С. 4). В тот же день состоялась кремация.

³³ В правленном Н. М. Гариной экземпляре машинописи эта последняя фраза счищена.

Т. С. Позднякова

ТОЛСТОВСКИЙ ДОМ В ЖИЗНИ АННЫ АХМАТОВОЙ

Адресат одной записки

«Посылаю Вам стихотворение Николая Степановича, потому что своего у меня сейчас ничего нет. Гонорар я получила»¹. Эта короткая записка Анны Ахматовой от 23 февраля 1915 года, адресованная Дмитрию Михайловичу Цензору, возможно, передана была ему по месту его жительства: Троицкая улица, 15–17, квартира 659. К записке были приложены переписанные рукой Ахматовой стихи Н. Гумилева «Стансы (Над этим островом какие выси...)» под названием «Над озером» и «Вечер».

Стихи Гумилева Дмитрий Цензор опубликовал вместе со «старым», 1914 года, стихотворением Ахматовой «Тяжела ты, любовная память...»². «Альманах» вышел в начале июня 1915 года под маркой, как писал в одном из своих мемуарных очерков Георгий Иванов, «загадочного издательства “Цевница”». Тут же были помещены стихи А. Блока, Г. Иванова, М. Кузмина, О. Мандельштама, Ф. Сологуба. А между ними беспомощные строки самого Д. Цензора.

Слабый поэт, эпигон символистов, Дмитрий Цензор, которого критика как-то назвала «сладко-лиричным», был очень плодовит и поэзию любил горячо. А. Блок в рецензии на одну из его книг написал: «Дмитрий Цензор – создание петербургской богемы <...> он чист душой, и главное, что временами он поет, как птица, хотя и хуже птицы; видно, что ему поется, что он не заставляет себя петь»³. Человек со странной для поэта фамилией – Цензор имел непосредственное отношение к нескольким изданиям Серебряного века. В еженедельном журнале «Златоцвет» он числился заведующим литературно-художественным отделом. Журнал объявлял своей задачей освещение «литературы, искусства, театра, сатиры»,

¹ Черных В. А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. М., 2008. С. 103.

² Альманах стихов, выходящих в Петрограде. Под ред. Дмитрия Цензора. Изд. не период. Вып. 1. [Пг.], «Цевница», 1915. С. 5, 10 – 11, 12 – 13.

³ Блок А. Отзывы о поэтах // Собрание сочинений в 8 тт. М.-Л., 1962. Т. 6. С. 335.

однако вкус его был невысок. Правда, хоть и нечасто, но попадались там и яркие публикации. В № 2 за 1914 год «Златоцвет» дал анонс: «Талантливая поэтесса Анна Ахматова в ближайшие дни выпускает вторую книгу стихов под названием «Четки», куда будет включена также ее первая книга «Вечер».⁴ В № 3 за 1914 год были напечатаны стихи Н.Гумилева «Мое прекрасное убежище...»⁵

Возможно, именно о гонораре за это стихотворение и пишет в процитированной выше записке Ахматова. Гумилев был на фронте, так что гонорар за него могла получить его жена.

С гонораром же за публикацию в «Альманахе стихов» произошло некое недоразумение, и Ахматова попросила разобраться с этим Георгия Иванова. Он в сентябре 1915 года написал Цензору: «Анна Андреевна поручила мне сообщить Вам следующее: Вы послали причитающийся ей и Николаю Степановичу гонорар – Анне Андреевне Ахматовой. Малая, б1, а так как зовут Анну Андреевну Гумилева, и для почты никакой Ахматовой не существует – естественно, она не может получить деньги. К тому же адрес не б1, а Малая б3. Анна Андреевна очень скоро уезжает из Царского в Финляндию».⁶

По-видимому, Ахматова не была близко знакома с Дмитрием Цензором, однако пути их пересекались неоднократно.

Еще в 1908-м, когда Анна Горенко только окончила гимназию, Цензор, жаждающий ощущать себя в гуще петербургской богемы, бывал на «Башне» у Вячеслава Иванова, начал посещать «Вечера Случевского». В 1911-м на эти «Вечера» собиравались изредка и у Гумилевых в Царском Селе. Возможно, туда приезжал и Дмитрий Цензор. Через год Ахматова единогласно была избрана в члены этого «кружка», хотя по-настоящему своей там себя не ощущала.

Но вот наступило ее время. В ночь с 31 декабря 1911 года на 1 января 1912 в подвале на углу Михайловской площади и Итальянской улицы открылось артистическое кабаре «Бродячая собака». Дмитрий Цензор стал завсегдатаем «Собаки» с самого начала ее существования. Ему принадлежит одна из первых публикаций об этом, ставшем вскоре самым знаменитом, адресе Серебряного века: уже в 1-м номере литературно-художественного еженедельного журнала «Черное и белое» за 1912 год он поместил за подписью «Дм» небольшую заметку о тех, кому «опротивела пошлая скука петербургских ресторанов»: «они бредут, как унылые псы, в поисках тесного круга людей, связанных общностью вкусов и потребностей, они спускаются вниз по скользким ступеням в неприметный с виду подвал, где на дверях предупредительно начертано бесхитростное слово “Тут”. Тут все свои... Обогревшийся бродячий пес, виляй во всю! Пой, шути... бросай экспромты и эпиграммы, рисуй, играй, лай, вой...

⁴ «Златоцвет». 1914, № 2. С. 18.

⁵ «Златоцвет». 1914 г. № 3. С. 6.

⁶ Черных В. А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. М., 2008. С. 109.

*Морды вверх, к черту сплин,
Жизни до отвалу!*

...Таков подвал “Бродячая собака” – ответвление “Интимного театра”. Во главе этого милого учреждения стоит группа талантливых молодых артистов, писателей и художников.⁷

Среди них была и Анна Ахматова, по словам художника Юрия Анненкова, «застенчивая и элегантно-небрежная красавица, со своей “незавитой челкой”, прикрывавшей лоб, и с редкостной грацией полудвижений и полужестов»⁸. В том же номере журнала Дмитрий Цензор сообщил о недавно образовавшемся в Петербурге под руководством С. Городецкого и Н. Гумилева «интересном кружке молодых поэтов», где не просто читают стихи, но разрабатывают теоретические основы нового поэтического направления и готовят к выпуску сборники молодых поэтов. Он назвал Марию Моравскую, Владимира Нарбута, Михаила Зенкевича, Анну Ахматову... Имя этому кружку – «Цех поэтов».

В следующем, втором, номере журнала «Черное и Белое» за 1912 год Дмитрий Цензор рьяно встал на защиту «Бродячей собаки», против которой во спасение нравственности выступила какая-то газетка: «Уличной пошлости все равно о какой предмет чесать язык... пошлость одевает колпак ходячей морали и маску благородства... В “Бродячей собаке”, право же, нет ничего, что нарушало бы понятие о нравственности и вообще было бы предосудительно... Вино пьют и в строжайших семейных домах, если же кто склонен выпить лишнее, то ведь “Бродячая собака” не исправительное учреждение и не имеет никакой возможности регулировать наклонности гостей...»⁹

Эта заметка наверняка (и, скорее всего, с одобрением) была прочитана Ахматовой, ведь тут же, несколькими страницами выше, Цензор напечатал стихотворение Николая Гумилева «Укротитель зверей» с эпиграфом из ахматовского «Меня покинул в новолунье...»: «...Как мой китайский зонтик красен, / Натерты мелом башмачки». По свидетельству Ахматовой, в стихотворении «Укротитель зверей» говорится о ней: это она – странный зверь, «золотой, шестикрылый, молчаливый»¹⁰.

Ахматова и Цензор вместе были 26 января 1913 года на вечере «Кружка Случевского» в доме у поэта Н. Н. Вентцеля. В феврале 1913 года на заседании «Цеха поэтов» в редакции «Аполлона» решено было расширить «Цех» путем

⁷ «Черное и белое». 1912, № 1. С. 13.

⁸ Ю. Анненков. Дневник моих встреч. Т.1. Л., 1991. С. 107.

⁹ «Черное и белое». 1912, № 2. С. 13.

¹⁰ Там же. С. 6. См.: Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). Москва – Torino, 1996. С. 252.

кооптации новых членов. Тогда приняли в «Цех» и Д. Цензора. Через год в журнале «Златоцвет» он представил отчет о его работе. Возможно, они вместе с Ахматовой участвовали в последних собраниях «Цеха», распавшегося в начале 1914 года.

Потом, как уже отмечалось, возникла их краткая переписка по поводу публикаций стихотворений Н. Гумилева в «Златоцвете» и «Альманахе стихов, изданных в Петрограде».

...8 августа 1921 года были похороны Александра Блока. Сохранилась запись Ахматовой: «Хоронил его весь город, весь тогашний Петербург или вернее все то, что от него осталось»¹¹. Д. Цензор был одним из тех, кто нес гроб Александра Блока на Смоленское кладбище ...

Затем жизнь далеко развела Анну Ахматову и Дмитрия Цензора.

Ахматову не издавали около 17-ти лет. Цензор время от времени печатался в многотиражках. В 1940-м вышел сборник Ахматовой «Из шести книг» и книжка избранных стихотворений Цензора. Перед войной постановлением Секретариата ЦК ВКП(б) сборник Ахматовой был изъят из продажи. Дмитрий Михайлович Цензор в это время занял пост секретаря партийной организации Ленинградского отделения Союза Советских писателей.

«...На память о зиме 1921 – 22 г. и нашей общей работе»

Зима 1921–1922 годов была тяжелой. После гибели Николая Гумилева Ахматова жила с неослабевающим чувством вины. О ней самой ползли тогда странные слухи – то о ее смерти, то об эмиграции. Однако она уезжать не собиралась и писала особенно много и интенсивно. Стихи были горькими – в них будто звучал его голос:

*Я с тобой, мой ангел, не лукавил,
Как же вышло, что тебя оставил
За себя заложницей в неволе
Всеї земной непоправимой боли?..*

Приклонить голову было негде – из библиотеки Агрономического института (там она еще недавно имела комнаты «при службе») ее уволили «по сокращению штатов». Жила вместе с Ольгой Судейкиной в квартире Артура Лурье на Фонтанке, 18. Но он собирался уезжать из России, квартиру надо было освободить и искать новое пристанище.

¹¹ Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). Москва-Торино, 1996. С. 683.



С. М. Алянский.
Рисунок Ю. П. Анненкова.

А сборники Ахматовой переиздавались один за другим и активно распродавались. И это благодаря Алянскому, благодаря ее с ним «общей работе». Спустя годы Ахматова вспоминала: «<...> мои книги в нэп расходились очень быстро (15 тыс.<яч> у Алянского в «Алконосте»)»¹².

Когда именно познакомилась Ахматова с Самуилом Мироновичем Алянским, неизвестно. Вполне возможно, что еще осенью 1917-го она заходила в его книжную лавку на Колокольной, 1. Там можно было купить редкие книги – известный библиофил Л. И. Жевержеев разрешил ему торговать дубликатами из своей библиотеки. Алянский брал на продажу и книги современных авторов. Скорее всего, только что вышедшая из печати ахматовская «Белая стая» недолго задержалась на его прилавках.

Конечно, Ахматова знала, что в 1918-м при поддержке Александра

Блока Алянский создал свое издательство.

Несколько лет назад в Петербурге, на Пушкинкой, 10, существовало книгоиздательство писателей-символистов «Сирин». Его деятельность оборвала война. Алянский полагал, что будет наследовать идею «Сирина», потому и дал новому издательству имя «Алконост». И «Сирин», и «Алконост» в славянской мифологии – райские птицы с чарующими голосами и человеческими лицами. Образ Сирина восходит к греческим сказаниям о сиренах. Образ Алконоста – к мифу об Алкионе, которая, узнав о гибели мужа, бросилась в море и была превращена богами в птицу, названную по ее имени Алкион. От искаженного древнерусского речения «алкионъ есть птица» и родилось слово «Алконост». В отличие от «Сирина» – «Алконост» птица печали.

Художник Юрий Анненков, гимназический товарищ Алянского, сделал для издательства марку: в черном полукруге бьются птичьи крылья, из-под них напряженно и гневно сверкают человеческие глаза.

¹² Записные книжки Анны Ахматовой (1958-1966). Москва-Торино 1996. С. 146.

Хотя Алянский сначала был намерен печатать именно символистов, в его издательстве стали выходить книги и других авторов. Александр Блок писал: «Издание «Алконост» не стесняет себя рамками литературных направлений... [Группа писателей] с тревогой всматривалась в будущее. Этим определяется лицо издательства и имя сумрачной и вешней русской птицы»¹³. Собственно, «Алконост» трудно было назвать издательством в привычном смысле слова – и редактором, и техническим работником, и экспедитором был там один человек – Самуил Алянский.

В июле 1918-го «Алконост» выпустил первую книгу – поэму А. Блока «Соловьиный сад». Вскоре – «Двенадцать» в оформлении Ю. Анненкова, и – книги, книги, книги... В 1919 году в издательстве «Алконост» вышел первый номер журнала «Записки мечтателей». Обложка его была выполнена по эскизу А. Я. Головина: высоко над городом человек в цилиндре и крылатке – мечтатель.

А 1 марта 1919 года Алянский пригласил друзей «Алконоста» к себе, на Троцкую, 15, в Толстовский Дом, на форшмак из мерзлой картошки и воibly праздновать девятимесячный юбилей издательства. В этот день в квартире Алянского собралось немало гостей: Александр Блок, Андрей Белый, Алексей Ремизов, Всеволод Мейерхольд, Юрий Анненков, Николай Радлов... Пришла и ближайшая подруга Ахматовой, «петербургская кукла, актерка» Ольга Судейкина. Самой же Ахматовой тогда, кажется, не было. Во всяком случае, воспоминаний о том не сохранилось.

Гости оставили свои записки в специально подготовленном для этого альбоме. «Да будет Алконост!», – написал на первой странице альбома Александр Блок¹⁴.

Шло время, работало издательство, выходили книги, заполнялся альбом автографами, и в 1922-м на одной из его страниц появилось четверостишие за подписью «Анна Ахматова». Но об этом позже.

Из воспоминаний К. И. Чуковского мы узнаем о том, как в мае 1921 года в поезде по дороге в Москву Блок прочитал ему и Алянскому стихи Ахматовой «Когда в тоске самоубийства...» и добавил: «Ахматова права. Это недостойная речь. Убежать от русской революции – позор»¹⁵. Утром 2 сентября Ахматова возвращалась на паровичке из Царского, прочитав на стене вокзала «Петроградскую правду» со списком расстрелянных этой революцией по так называемому «Таганцевскому делу»... Потому ли, что весть о расстреле ей принесли еще раньше, или это было предчувствие, но несколько дней назад родились строки:

¹³ Цит. по: Чернов И. А. Блок и книгоиздательство «Алконост» // Блоковский сборник. Труды научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока. Вып. 1. Тарту, 1964. С. 532.

¹⁴ Там же. С. 531.

¹⁵ Чуковский К. И. Современники. М., 1963. С. 479.

*Страх, во тьме перебирая вещи,
Лунный луч наводит на топор...

И притихнет. Как он зол и ловок,
Спички спрятал и свечу задул.
Лучше бы поблескиваньё дул
В грудь мою нацеленных винтовок...*

Именно Алянский сообщил ей по телефону, что в Казанском соборе будет панихида по убиенным¹⁶. На панихиде она стояла отдельно ото всех. В храме собралось очень много народу: Лозинский, Георгий Иванов, Оцуп, Адамович, Огоевцева... Вслхлипывала закутанная во вдовий платок Анна Николаевна Гумилева... В глубоком трауре были мать Блока, его тетка, Любовь Дмитриевна – его вдова: со смерти самого Блока не прошло еще и месяца...

Родные Блока с огромным доверием относились к Самуилу Мироновичу, помня о привязанности Блока к нему. В альбоме Алянского есть запись К. И. Чуковского: «Мало я знал в своей жизни людей, способных так горячо ненавидеть всякое лицемерие, ханжество, всякую пошлость, безвкусицу, фальшь... Недаром к нему так прилепился душой непреклонный суровый Блок»¹⁷.

«Алконост» продолжал издавать послереволюционные произведения Блока, книги рекомендованных им авторов, выпускать начатый вместе с ним журнал «Записки мечтателей». В сентябре 1921 года вышел четвертый номер журнала. В нем было опубликовано то самое стихотворение – «Страх» и еще четыре из не печатавшихся ранее ахматовских стихов: «Пока не свалюсь под забором...», «Кое-как удалось разлучиться...», «А! Ты думал я тоже такая –...» и «Путник милый! Ты далече...»¹⁸. Дата под стихотворением «Страх» – «27/28 августа 1921» – делала для читателей очевидным, каким трагическим событием продиктованы были эти строки.

С осени 1921 года и началось активное сотрудничество Ахматовой с Алянским. Тот же четвертый номер «Записок мечтателя» сообщал, что журнал издается при участии А. Блока, А. Белого, А. Ремизова, Вяч. Иванова, В. Мейерхольда, В. Зоргенфрея, О. Форш и А. Ахматовой. Следующий, пятый, номер анонсировал выпуск ахматовских книг: «У самого моря», «Четки» и «Белую стаю».

Поэма «У самого моря» прежде напечатана была только в журнале «Аполлон»¹⁹. Прочитав ее тогда, Блок писал Ахматовой: «Поэма настоящая, и Вы – настоящая»²⁰. Отдельным изданием она вышла впервые именно в «Алконосте»

¹⁶ См.: Лукницкий П. Н. Asimiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. I. Париж; М., 1997. С. 53.

¹⁷ Цит. по: Белов С. В. Мастер книги. Очерк жизни и деятельности С. М. Алянского. М., 1979. С. 39.

¹⁸ «Записки мечтателей». 1921, № 4. С. 16 – 20.

¹⁹ «Аполлон». 1915, № 3. С. 25 – 32.

²⁰ Блок А. Собр. соч. в 8 т. Т. 8. С. 459.

в 1921 году, тиражом 3 000 экземпляров, в строгом и изысканном оформлении Виктора Замирайло. Известный мастер книжной графики, Замирайло при решении обложки книги играл черным и белым цветом, подчеркивал архитектуру шрифта, тактично добавляя легкий орнамент. Алянский умел работать с художниками, и книги его издательства при всех финансовых затруднениях всегда отличались культурой полиграфии и художественного оформления.

В следующем, 1922-м, «Алконост» переиздал сборники Ахматовой, выпущенные когда-то «Гипербореум»: со склада, расположенного там же, где и издательство, на Невском, 57, развозили по петроградским книжным магазинам 8-е издание «Четок» и 3-е издание «Белой стаи». Сам Алянский покинул уже к этому времени Толстовский Дом и переехал с семьей на Знаменскую, 22 (она только с 1923 года будет называться улицей Восстания).

В архиве Алянского осталась «Белая стая» с теплой дарственной надписью: «Милому Самуилу Мироновичу Алянскому на память о зиме 1921–22 г. и нашей общей работе. Ахматова. Март 1922. Петербург»²¹. На страницу его альбома она вписала шутовское четверостишие:

*Хорошо поют синицы,
У павлина яркий хвост,
Но милее нету птицы
Вашей славной «Алконост».*

Однако дела у «Алконоста» шли неважно – не хватало бумаги, разладились отношения с петроградской государственной типографией. Решено было действовать вместе с издательством «Петрополис», которое открыло свое отделение в Берлине. Теперь, хотя и оставалась на титульном листе в книгах марка «Алконоста», сборники Ахматовой переиздавались под двумя грифами «Алконост» и «Петрополис» – «Alle Rechte vorbehalten» («На общих правах»).

В 1923 году вышло 9-е дополнительное издание «Четок», 4-е дополнительное «Белой стаи» и 2-е дополнительное «Anno Domini».

В берлинскую книжку «Anno Domini» Алянский включил отдельными разделами «Подорожник» и «Новые стихи», написанные только что, в 1922-м. Среди них: «Согражданам» и «Не с теми я, кто бросил землю...» – то, что ни коим образом не могло быть напечатано в Советской России. Открывалась книжка графическим портретом Ахматовой работы Ю. Анненкова, тем самым портретом, о котором Е. Замятин писал: «...легкие, тяжелые тени по лицу, и в них – столько утрат...»²².

²¹ Опубликовано: Белов С. В. Мастер книги: Очерк жизни и деятельности С. М. Алянского. М., 1979. С. 25.

²² Замятин Е. О синтетизме // Замятин Е. Соч.: В 4 т. Мюнхен, 1988. Т. 4. С. 289.

В 1960-е Ахматова вспоминала об этом сборнике: «<...> Он вышел (II-е изд.) в 1923 г. в Берлине (“Petropolis” и “Алконост”) и не был допущен на родину. Тираж, по тем временам значительный, остался за границей. То, что там были стихи, ненапечатанные в СССР, стало одной третью моей вины, вызвавшей первое пост<ановление> обо мне (1925 г.)»²³.

Почти из всех тех экземпляров «Анно Доміні», что все-таки чудом пришли в Россию, цензура вырезала страницы с крамольными стихами.

«Анно Доміні» остался на целых семнадцать лет последним ахматовским сборником.

Издательство Алянского терпело убытки – в стране была инфляция, «Алконост» не имел средств для обеспечения издательских услуг и выплаты авторам гонораров. На книги цены столь стремительно возрастали, что их даже перестали пропечатывать на обложках.

В издательском портфеле осталось более 12-ти не успевших выйти книг. Журнал «Записки мечтателей» прекратил свое существование после 6-го номера. А ведь был анонсирован 7-й номер, посвященный Блоку, и там предполагалась публикация Ахматовой. Госиздат с его огромными тиражами, газетной бумагой, дешевой полиграфией смел с лица земли «мечтателей». К концу 1923 года «Алконост» прекратил свое существование.

Отношения Ахматовой с Алянским не прервались, но несколько охладели. В середине 1920-х они были омрачены какими-то денежными недоразумениями. Но, главное, Ахматова считала, что одной из причин начавшегося гонения на нее явилось издание Алянским за границей ее сборника «Анно Доміні» и держала за это на Алянского обиду.

Возможно, общение их возобновилось во время войны в Ташкенте. Двенадцатилетняя дочка Самуила Мироновича Нина была эвакуирована туда из Ленинграда еще в начале блокады. Она вполне могла быть среди тех детдомовских детей, чьи бесхитростные и страшные рассказы о войне записывала в Ташкенте Л. К. Чуковская. С отцом Нина Алянская встретилась в мае 1942-го, когда его, пережившего смерть жены и сына, тоже отправили в Узбекистан.

Возможно, пути Ахматовой и Алянского пересекались и в другие годы: в разных издательствах С. М. Алянский работал вместе с К. Фединым, К. Петровым-Водкиным, М. Шагинян, Н. Тырсой, В. Лебедевым, К. Чуковским... Дружил с Е. Пешковой, С. Михоэлсом... А ведь все это был круг и ахматовских знакомых.

...По воспоминаниям Ирины Николаевны Пуниной и Анны Генриховны Каминской, в комнате Ахматовой висела лубочная картинка с изображением сказочной птицы. Феникс? Сирин? Алконост?

²³ Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). Москва-Торино. 1996. С. 378.

«Был... утешеньем самых горьких дней...»

*Из каких ты вернулся стран
Через этот густой туман?*

– эти строки в 1937 году Ахматова собственной рукой написала на странице дневника Владимира Георгиевича Гаршина²⁴. Будто встреча с ним – возвращение давно потерянного, будто вновь появилась надежда на самое обыкновенное счастье.

Роман Ахматовой и Гаршина начался, когда обоим было около пятидесяти. Владимир Георгиевич Гаршин – не поэт, не художник, не искусствовед, не композитор. Ученый, врач-патологоанатом, коллекционер.

Как свела их судьба?

Не будучи еще близко знакомыми, они не раз встречались в доме историка литературы, переводчика Бориса Михайловича Энгельгардта. В. Г. Гаршин часто заходил сюда: они с Энгельгардтом знакомы были еще по Университету, кроме того, Энгельгардт первым браком женат был на двоюродной сестре Гаршина, которая кончила жизнь самоубийством после ареста мужа: в 1930 году он шел по «делу Академии наук». Вернувшись из ссылки, Энгельгардт со своей второй женой жил в коммунальной квартире на Кировной, 8. Здесь у него и собиравлись М. Л. Лозинский, Б. М. Эйхенбаум, Л. Я. Гинзбург, Б. В. Томашевский, А. А. Ахматова...

Ученый-патологоанатом, В. Г. Гаршин был не чужд литературе: известный русский писатель Всеволод Михайлович Гаршин приходился ему дядей, да и сам он писал стихи. Неровные. Сам к ним серьезно не относился. Но на странице книги Ю. Германа «Дело, которому ты служишь» сохранилось стихотворное послание Гаршина «Другу-прозектору»:

*Милый Вальтер, я только прозектор,
Духовник уходящих теней,
А стихи – это узенький сектор
В диаграмме часов и дней.*

*Но когда оборвутся все нити
И я лягу на мраморный стол,
Будьте бережны, не уроните
Мое сердце на каменный пол²⁵.*

²⁴ Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин. СПб, 2002. С. 111.

²⁵ Там же. С. 155. См. также: Герман Ю. Дело, которому ты служишь. Л., 1987. С. 53 – 54.

Поэзию он знал и любил. Особое отношение было у него к Гумилеву. С его стихами он прожил всю жизнь. В середине 1950-х, уже тяжело больной, на одной из последних страниц дневника, меж наблюдений о печальной динамике своего организма и мыслей о том, как сузился его мир, он запишет: «Читал “Звездный ужас” Гумилева, “Душа и тело” – его же. Он это понимал. “Как подобает мужу, заплачу непоправимой гибелью последней”. Да, вот это сила!»²⁶

С творчеством Ахматовой, конечно же, Гаршин тоже был знаком с юности.

Их личные отношения завязались в феврале 1937-го, когда Ахматова лежала в Куйбышевской (Маршинской) больнице на обследовании по поводу щитовидной железы. Лечил ее профессор-эндокринолог В. Г. Баранов. Он ли способствовал сближению Ахматовой со своим коллегой Гаршиным или Гаршин устроил ей консультацию с Барановым – теперь сказать сложно, но именно с этого времени отношения Ахматовой и Гаршина стали развиваться напряженно и интенсивно.

В сентябре 1938-го произошел окончательный разрыв Ахматовой с Пуниным. Ахматова осталась в его квартире в Фонтанном Доме, но жила теперь не в кабинете Николая Николаевича, а в бывшей детской. Ирина Николаевна Пунина вспоминала: «Гаршин приходил к ней в эту комнату. Это был трогательный и милый человек, с такой необычайной деликатностью, которая казалась уже тогда музейной редкостью»²⁷.

В 1940 году Гаршин сказал Л. К. Чуковской: «Я эти два года ее на руках несусь»²⁸.

Тут и поддержка в быту (приносил судки с едой в муфте, чтобы не остыла), и медицинское наблюдение, и переписывание стихов для так и не состоявшейся публикации в «Московском альманахе», и совместные прогулки по залам Эрмитажа, а главное – спасение от одиночества. В июле 1940-го Ахматова подарила Гаршину свою фотографию, сделав на обороте надпись: «Моему помощному зверю Володе. А.»²⁹. Помощный зверь в русском фольклоре – герой сказки, приносящий волшебную помощь.

Чуковская в своих «Записках» отметила, что Гаршин, человек тонкой душевной организации, в полной мере ощущал ту страшную «интенсивность духовной и душевной жизни, которая сжигала Ахматову»,³⁰ и одновременно часто чувствовал на себе гнет ее раздражительности, подозрительности, гнева.

Однажды она задала Гаршину вопрос:

«- Что для Вас тяжелее всего? Ее состояние? Ее гнев?»

²⁶ Опубликовано: Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин. СПб, 2002. С. 86.

²⁷ Пунина И. Н. «Под кровлей Фонтанного Дома...» // Анна Ахматова и Фонтанный Дом. СПб., 2000. С. 147.

²⁸ Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой: В 3-х т. М., 1997. Т. 1 С. 161.

²⁹ Опубликовано: Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин. СПб, 2002. С. 184.

³⁰ Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой: В 3-х т. Т. 1. М., 1997. С. 161.

– Нет, – ответил он. – Я сам. Я понимаю, что теперь, сейчас обязан быть с нею, только с нею. Но, честное слово, без всяких фраз, прийти к ней я могу только через преступление. Верьте мне, это не слова. Хорошо, я перешагну, я прыду. Но перешагнувший я ей все равно не нужен»³¹.

Он страдал от невозможности «перешагнуть» через страдания жены.

Татьяна Владимировна Гаршина (урожденная Акимова) была знакома с Владимиром Георгиевичем с ранней юности. Она, будучи практически его ровесницей, приходилась ему двоюродной теткой – ее отец был братом бабушки Владимира Георгиевича. Их сын А. В. Гаршин вспоминал, что Владимир Георгиевич любил иногда шутя рассуждать, «кем он сам себе приходится». Владимир Гаршин и Татьяна Акимова обвенчались в Киеве в 1910 году. (В том же году там венчались и Ахматова с Гумилевым).

Из Петербургского университета Гаршин перевелся в Киевский, на медицинский факультет. Блестяще закончил его, был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию. Во время войны служил врачом и при красных, и при белых. Дошел с Белой армией до Крыма. Некоторое время пробыл в застенках ЧК. По счастью, был быстро освобожден, возможно, при содействии М. Волошина. Работал врачом в Севастополе. Мечтал о науке. Был страстно увлечен патанатомией. Да, это бесконечно печальная работа, но, как говорил Гаршин своим ученикам, патологоанатомия – это «философия медицины», так как она постоянно должна размышлять над вопросом: почему?

В 1923 году В. Г. Гаршин был зачислен ординатором Петроградского военно-морского госпиталя, поступил на должность прозектора в больницу «Памяти жертв революции» (позже – им. Куйбышева), одновременно работал волонтером в Институте экспериментальной медицины. Но к концу 1930-х он уже заведовал лабораториями в Рентгенологическом институте, во Всесоюзном институте экспериментальной медицины и был профессором Первого медицинского института.

Сначала Гаршины жили в Ленинграде в здании Морского госпиталя, затем получили жилье в Коломне, в доме 3 по Мастерской улице, а с 1927-го поселились на улице Рубинштейна, в Толстовском Доме, как любил говорить Владимир Георгиевич, «на южном берегу Фонтанки».

В 459-й коммунальной квартире у них было три небольших комнаты. Все окна выходили во двор. В семье росли двое сыновей. Старший, Юрий, женился, привел сюда же свою жену. Подолгу жила у Гаршиных и его сестра с дочерью. Кабинетик его – всего метров 10: узкая железная кровать с серым казенным одеялом, много книг.

Жили Гаршины более чем скромно – хотя профессор Гаршин зарабатывал

³¹ Там же. С. 178.

прилично, большую часть зарплаты тратил он на свои коллекции: был страстным собирателем произведений искусства и нумизматом. Татьяна Владимировна принимала все это кротко, была мужу исключительно предана. Сама она не работала, занималась домашним хозяйством и по договору с какой-то артелью расписывала по эмали брошки. Кроме того, помогала Гаршину: изготавливала демонстрационные плакаты, перерисовывала в увеличенном виде микрофотографии.

Страдающий от невозможности «перешагнуть» через страдания жены, В. Г. Гаршин тем не менее не заронил в Ахматовой ни тени сомнения в своей верности ей. «Мне в последний раз цыганка предсказала, – говорила она Чуковской, – что Владимир Георгиевич будет любить меня до самой смерти»³². Об этом стихи 1940 года:

*Соседка из жалости – два квартала,
Старухи, как водится, – до ворот,
А тот, чью руку я держала.
До самой ямы со мной пойдет...*

В 1939-м она посвятила Гаршину стихотворение «Годовщину веселую праздную...»:

*В грозных айсбергах Марсово поле,
И Лебяжья лежит в хрусталях...
Чья с моею сравняется доля,
Если в сердце веселье и страх...*

Это то веселье, что «у бездны мрачной на краю», и оно отмеривало годовщину как новой дружбы, так и нового горя: сближение с Владимиром Георгиевичем Гаршиным и ожидание приговора заключенному в тюрьму сыну. В этих стихах свидание сопровождают реалии конкретного петербургского пейзажа:

*Из тюремного вынырнув бреда,
Фонари погребально горят...*

И тут же, тогда же:

*И трепещет, как дивная птица,
Голос твой у меня за плечом.*

Спустя годы, пережив неизбывную обиду на Гаршина, Ахматова все равно

³² Там же. С. 344.

назовет его «утешеньем самых горьких лет», но «веселую годовщину» исправит на «последнюю».

В эти годы «стихи наступали на пятки» друг другу – она, как и после 1917-го, писала много, и ее «голос изменился». Строки из «Реквиема», самые горькие, самые обнаженные «Уже безумие крылом / Души накрыло половину...» имели посвящение: «Другу» – В. Г. Гаршину.

Самым «урожайным» был 1940-й. Ахматова называла его своим «апогеем». Тогда родилась маленькая поэма «Путем всея земли» («Китежанка»). Эта поэма о странствиях души во времени тоже была посвящена Гаршину.

*Прямо под ноги пулям,
Расталкивая года,
По январям и июлям
Я проберусь туда..
Никто не увидит ранку,
Крик не услышит мой,
Меня, китежанку,
Позвали домой.*

«Китежанку позвали домой» – в ту глубь времен, когда мы еще не «вздумали родиться», а город Китеж, спасаясь от татарского нашествия, погрузился в воды светлого озера.

Ахматова, любившая замечать «странные сближения», может быть, обратила внимание и на такое: в преданиях дворянского рода Гаршиных сохранилась память о древнем предке – каком-то мурзе Горше или Гарше. При Иване Третьем, в период раскола Золотой Орды и свержения татаро-монгольского ига, он вышел из Орды и крестился. То есть ушел от хана Ахмата – легендарного предка Анны Ахматовой.

... В историю отношений Ахматовой и Гаршина вторглась война.

25 сентября 1941 года Николай Николаевич Пунин записал в своем дневнике: «Вечер. 11 часов. Час тому назад была короткая “воздушная тревога”, теперь тихо. ... Днем зашел Гаршин и сообщил, что Ан. послезавтра улетает из Ленинграда. (Ан. уже давно выехала отсюда и последнее время жила у Томашевского в писательском доме, где есть бомбоубежище...). Сообщив это, Гаршин погладил меня по плечу, заплакал и сказал: “Ну вот, Николай Николаевич, так кончается еще один период нашей жизни”. Он был подавлен»³³. Ахматова уехала в эвакуацию в Ташкент. Гаршин остался в Ленинграде. Остался с городом, где жил еще звук их «шагов в эрмитажных залах».

Он стал, по сути дела, главным патологоанатомом блокадного города. К его прозекторской свозили трупы из военных госпиталей и со всех краев города. Он

³³ Пунин Н. Мир светел любовью. М., 2000. С. 348.

преподавал, проводил вскрытия, вел научную работу – если можно такими обычными словами говорить о человеческой деятельности в нечеловеческих условиях. Высоким свидетельством блокадной жизни Гаршина стала его статья «Там, где смерть помогает жизни» – о значении патологической анатомии в спасении тех, кого еще можно спасти. Это научная статья, но заканчивается она мыслью о том, что блокада оставляет в людях «глубокий рубец». И далее: «Странно, но этот рубец как-то выпрямил душу»³⁴.

Зимой 1942 года Гаршин получил в подарок одностомник Пушкина, с дарственной надписью от его составителя и автора комментариев, близкого и ему, и Ахматовой, Б. В. Томашевского: «Владимиру Георгиевичу Гаршину – Человеку и в звериных дебрях».

Ахматова жила в Ташкенте в постоянной тревоге об оставшихся за тремя фронтами «Городе и Друге». Вторая часть созданной в Ташкенте в 1943 году второй редакции «Поэмы без Героя» имела посвящение «В. Г. Гаршину», а третья часть, «Эпилог», – «Городу и Другу». Она отправила Поэму в Ленинград, Владимиру Георгиевичу.

Посылала ему Ахматова и написанные в Ташкенте строки «Северных элегий». Только оставаясь в звериных дебрях человеком, можно было страшными блокадными вечерами переписывать в дневник эти строки.

К Гаршину обращено и несколько написанных в Ташкенте стихотворений.

*С грозных ли площадей Ленинграда
Иль с блаженных летейских полей
Ты прислал мне такую прохладу,
Тополями украсил ограды
И азийских светил мириады
Расстелил над печалью моей?*

Л. К. Чуковская запомнила, что в рукописи за этим шестистишьем следовало: «Я твоей добротой несравненной...»³⁵. По свидетельству Чуковской, Ахматову потрясла телеграмма Гаршина о смерти его жены³⁶. В дневнике Владимира Георгиевича³⁷ крупно, на всю страницу, начертано: «10 X 1942». (Это дата смерти Татьяны Владимировны). А внизу страницы фраза: «Несть человекъ, аще поживеть и не согрешить» – строка из «Последования по исходе души от тела». Если человек

³⁴ Гаршин В. Г. Там, где смерть помогает жизни // Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин. СПб, 2002. С. 137.

³⁵ Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. М., 1997. Т. 1. С. 452.

³⁶ Там же. С. 489.

³⁷ Дневник В. Г. Гаршина хранится в фондах Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (Ф.1. Оп. 1. Д. 179).

умер вне дома и тела его в доме нет, «Последование» принято читать сразу после извещения о смерти.

Татьяна Владимировна Гаршина умерла вне дома. Случилось это так:

Владимир Георгиевич в блокаду жил при институте, на улице Рентгена, Татьяна Владимировна оставалась на Рубинштейна. Когда были силы, приходила к нему. И в тот раз должна была «капустки принести». Ждал, а ее все нет и нет. Решил идти ее искать. Дальше рассказывает друг Гаршина, профессор Владимир Павлович Михайлов: «Он ее не нашел в тот день. Она умерла по дороге, в Апраксином переулке, где склады. Он потом на том месте начертил на стене карандашом крест, эта метка долго сохранялась. Нашли Татьяну Владимировну нескоро. Ее крысы изуродовали, но это для него не было страшно, он это не раз видел. Хоронили ее на лютеранском Волковском кладбище... Когда все кончилось, он сказал: “Я останусь еще здесь, уходите. Я вас очень прошу”. Мы и ушли»³⁸.

В письме к сыну на фронт Гаршин писал: «Милый мой мальчик, родной мой Алешенька. На нас с тобой и Юрой обрушилось самое страшное несчастье: вчера, 10 октября, умерла мама... Я еще ничего не знаю, как жить. Совсем меня раздавило... Пусто, пусто в душе, страшно. Некуда деться...»³⁹.

...Через полгода Гаршин сделал Ахматовой предложение и просил ее принять его фамилию. Она дала согласие и с тех пор называла Владимира Георгиевича своим мужем. Весной 1944-го она возвращалась в Ленинград, надеясь поселиться вместе в Гаршиным в его новой квартире, обещанной ему ВИЭМом – на Кировском проспекте. Однако к приезду Ахматовой квартиры еще не было.

В апреле 1944 года Гаршин писал сыну: «Ожидая приезда Анны Андреевны, человека душевно близкого мне. Несколько волнуясь – ведь прошло уже более двух лет, как она уехала, многое изменилось, а главное, и я изменился»⁴⁰.

Возможно, отправляясь на вокзал встречать Ахматову, Гаршин предполагал, что из этой встречи может ничего не получиться...

1 июня Ахматова вышла из поезда на платформу Московского вокзала, тут и произошла ее встреча с Гаршиным, уже много раз описанная в воспоминаниях.

Он встретил ее, поцеловал ей руку. Несколько минут, разговаривая, они ходили по перрону. Потом он простился и быстро ушел, а она спокойно сообщила ожидавшим ее спутникам: «Все изменилось. Я еду к Рыбаковым».

О душевном состоянии Гаршина после расставания с Ахматовой можно судить по его июньскому письму, адресованному в Москву старым друзьям: «...Жизнь

³⁸ О Владимире Георгиевиче Гаршине (воспоминания, размышления, стихи, письма) // Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин. СПб, 2002. С. 43.

³⁹ Там же. С. 43 – 44.

⁴⁰ Там же. С. 58.

сейчас на переломе. В эти дни я переезжаю на старое пепелище – домой на Троицкую (я жил три года в лаборатории). Кончается своеобразный период. Дома, где все связано с Татьяной Владимировной, мне тяжело. Мира нет в душе, не знаю, будет ли...»⁴¹.

Тем же июнем 1944-го датировано четверостишие Ахматовой:

*Я бы лучше по самые плечи
Вбила в землю проклятое тело,
Если б знала, чему навстречу,
Обгоняя солнце, летела.*

...Ахматова пережила Гаршина на десять лет, так и не освободившись от смертельной обиды на него. Уничтожила их переписку. В своих произведениях сняла все посвящения ему. В «Поэме без Героя» кардинально изменила смысл непосредственно адресованных ему строк. Было:

*Ты мой грозный и мой последний,
Светлый слушатель темных бредней...:*

Стало:

*Ты не первый и не последний
Темный слушатель светлых бредней...*

Она убедила себя в том, что Гаршин сошел с ума.

А у него просто не было сил для совместной жизни с Ахматовой. Она вернулась из Ташкента, по словам М. И. Алигер, «преображенная, молодая и прекрасная». Страшным призраком показался ей ее несчастный город. Страшным призраком показался ей человек, прошедший через кромешный ужас блокады и не имевший сейчас возможности разделить с нею ее новую молодость.

(Подробнее об Ахматовой и Гаршине см. издание Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме: «Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин» СПб., 2002)

«Пока не требует поэта...»

В доме у профессора Э.И.Слепяна сохранилась написанная его родственником в конце 1940-х небольшая картина маслом – интерьер комнаты в 104-й квартире Толстовского Дома: темные, в бордовый тон, обои, тяжелая

⁴¹ Цит. по: Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин. СПб, 2002. С. 153.

мебель красного дерева, глубокое кресло. «Вот в нем всегда прямая и сидела она», – это, пожалуй, единственное, что помнит об Ахматовой племянник Дорианы Филипповны Слепян, который после войны четырнадцатилетним мальчишкой прибежал к тетушке на улицу Рубинштейна. В одной квартире вместе с Дорианой Филипповной жила Раиса Моисеевна Беньяш. Но о ней Эрик Иосифович говорить отказался, повторив несколько раз, что была она «черной женщиной». Однако есть и другие воспоминания, в которых Беньяш предстает в совсем ином свете – талантливая, зоркая, верная в дружбе. Правда, с несколько завышенной самооценкой.

Отношения Беньяш и Слепян с Ахматовой не были идилическими: достаточно длительное время она общалась с ними много и часто, а потом вдруг связь эта резко оборвалась.

Познакомились они во время войны в Ташкенте.

Там эвакуированных писателей поделили на более и менее знаменитых. Более знаменитые получили отдельное жилье, писателей же «второго разряда» поселили в специальном общежитии. Оно разместилось по адресу: улица Карла Маркса, 7, в двухэтажном деревянном доме, где прежде располагалось Управление по делам искусств. В это общежитие попали и Д. Ф. Слепян, автор ныне забытых пьес и эстрадных фельетонов, и Р. М. Беньяш, театральный критик, и Анна Ахматова. Причем, Ахматовой выделили самую маленькую, 8-метровую, комнату под крышей, с внутренним окошечком-выступом – помещение бывшей кассы. Г. Л. Козловская вспоминала: «Было что-то глумливо-ироничное, но совершенно единое с гофманианой ее жизни и судьбы в том, что ей, самой безденежной из всех людей, суждено было жить в помещении, где до войны шелестели купюры»⁴².

Ахматовскую комнату в доме на улице Карла Маркса описала и Раиса Моисеевна Беньяш:

«Прямой и белесый свет обнажал пустоту сыроватых стен, казарменную серость тощего одеяла, обшарпанность двух табуретов. Все здесь казалось случайным, казенным, неустроенным. Словно на пересыльном пункте...

Под лестницей, которая вела со двора прямо в комнату, голосили дети. Рядом, в узеньком мрачном коридоре, выясняли отношения жены эвакуированных. Из всех комнат тянулись и скапливались горьковатые запахи скудной тыловой пищи...»⁴³.

Да, в соседних комнатах, в длинном коридоре, во дворе гудела чужая жизнь. Десятки людей, с обжитых мест брошенные сюда войной, дали этому своему пристанищу имя – «Ноев ковчег». Ахматова же в минуту раздражения назвала

⁴² Козловская Г. «Мангалочный дворик...» // Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 379.

⁴³ Цит. по: Добин Е. Поэзия Анны Ахматовой. Л., 1968. С. 142.

писательское общежитие «лепрозорием», по той причине, что обитатели этого замкнутого пространства порой заражались друг от друга завистью, склоками, сплетнями.

Но в то же время, будучи в Ташкенте менее зависимыми от советского официоза, столичные писатели вдруг почувствовали себя здесь чуть ли не богемой – их ташкентский образ жизни несколько напоминал свободные нравы начала XX века. Все это претило человеку высокой морали Лидии Корнеевне Чуковской. Но для Анны Ахматовой гармония с жизнью, и в этом трудно не согласиться с Анатолием Найманом, «была выше промежуточной, хотя бы и высокой, морали»⁴⁴.

Да, Ахматова в Ташкенте много работала – написала десятки стихотворений, цикл «Ветер войны», поэтическую сюиту «Луна в зените», некоторые из «Северных элегий», драму «Энума Элиш», вторую редакцию «Поэмы без Героя». Однако она не чуждалась и «забав суетного света». Они были для нее таким же необходимым условием гармонии, как «священная жертва», которую требует от поэта Аполлон.

В ташкентской богеме складывался некий ахматовский культ – ей с готовностью служили, ее окружал «целый двор изящных дам». Среди этих дам, вовсе не отличавшихся строгими нравами, были Дориана Слепян, миниатюрная, темноглазая, «злая и умная», и Раиса Беньяш, рослая, с короткой стрижкой под мальчика, с решительными жестами, с прилепившимся к ней шутивным именем – Джонни.

Дориана Слепян – одно из мимолетных увлечений Николая Гумилева. Уже поэтому она могла вызвать любопытство Ахматовой.

Может быть, по настоянию Ахматовой она в 1966 году и написала свои заметки «Что я вспомнила о Гумилеве», опубликованные много позже⁴⁵. Она вспомнила, что впервые увидела его на вечере в «столовке Техноложки», где в 1918 году по субботам поэты читали студентам стихи. Он показался ей очень высоким, двигался, «как на шарнирах, дынеобразная голова с небольшими глазами». Но исключительно красивыми и выразительными были его руки.

Ей тогда только исполнилось 16 лет, и она училась на первом курсе Консерватории по классу скрипки. Он подарил ей свою книжку, на титульном листе написал посвящение «Дориане с ее скрипкой – мои первые стихи» и строки:

Я говорил: «Ты хочешь, хочешь?»

⁴⁴ Найман А. А. А. через тридцать три года // Литературная газета. 1997. 20 августа. № 34 (5666). С. 14.

⁴⁵ Слепян Д. Что я вспомнила о Николае Степановиче Гумилеве. // Жизнь Николая Гумилева: воспоминания современников. Л., 1991. С. 194 – 198.

*Могу я быть тобой любим?
Ты счастье странное пророчишь
Гортанным голосом твоим...*

*И скажут: Что он? Только скрипка,
Покорно плачущая, он, –
Ее единая улыбка
Рождает этот дивный звон.*

Что это была за книжка, она не помнила – сокрушалась, что в 1937-м ее уничтожила.

Зато вспомнила, что малообщительный, замкнутый, со многими даже надменный, он порой вел себя подчеркнuto театрально. Зимой 1920-го, когда она была уже студенткой Театральной школы, Гумилев снова стал изредка с ней встречаться и как-то взял ее с собой на бал в бывший дом графа Зубова. Это тот «святочный бал», о котором остались блестящие воспоминания Владислава Ходасевича: «...В огромных промерзших залах зубовского особняка на Исаакиевской площади – скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художественный Петербург – налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснясь к каминам. Боже мой, как одета эта толпа. Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с мамой, дрожащей от холода в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит: “Ничего не произошло. Революция? Не слышал”»⁴⁶. Дориана Слепян вспомнила, как она «театрально подыгрывала партнеру». Может быть, это была лучшая ее роль...

Вспомнила она и другое – директор одного театра, где она служила, в прошлом служил в ЧК, присутствовал при расстреле Гумилева, и «был поражен его стойкостью до самого конца». «В годы необоснованных репрессий этого товарища постигла та же участь».

Наверное, тогда в Ташкенте она обо всем этом рассказывала Ахматовой...

Слепян и Беньяш были намного моложе Ахматовой: Дориане – сорок, Раисе не исполнилось и тридцати. С ними было легко и забавно – удавалось им и в горькую военную пору не придавать большого значения самым серьезным вещам.

⁴⁶ Ходасевич В. Гумилев и Блок. // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990. С. 205-206.

Можно сказать, что были они, как говорила Ахматова о самой себе десятилетиями, «беспастушны».

Пожалуй, Беньяш была ближе Ахматовой, чем Слепян. Но отношения их были не равными.

Л. К. Чуковская в своих «Ташкентских тетрадах»⁴⁷ иногда отмечала эти встречи: Ахматова на дне рождения у Беньяш; Ахматова у Беньяш, очень оживлена; Ахматова читает стихи на вечере у Е. П. Пешковой в присутствии А. Н. Толстого, Р. М. Беньяш, Р. В. Зеленой; Беньяш читает Ахматовой, Слепян и Чуковской свою работу о певице Тамаре Ханум...

Р. М. Беньяш чувствовала себя рядом с Ахматовой настолько свободно, что когда однажды, «узнавая от гостей, NN [Ахматова – Т. П.] вывесила на дверях записку “Работаю”», она все равно бесцеремонно вошла в ее комнату⁴⁸.

И Раиса Беньяш, и Дориана Слепян Лидию Корнеевну крайне раздражали: Чуковская считала, что их общество роняет достоинство Ахматовой, не могла понять и принять ахматовской к ним благосклонности: «Я зашла к ней вечером. По дороге встретила Беньяш. Скоро явились: Раневская и Слепян. Сквернословили... NN [Ахматова – Т. П.] была с ними очень терпелива и любезна»⁴⁹.

Но даже по тексту «Ташкентских тетрадей» Л. К. Чуковской видно, что Ахматова ценила мнение своих приятельниц – читала им Эпиграммы к «Поэме без Героя», отрывок мемуарной прозы («В Ташкенте от “эвакуационной тоски” написала “Дому было сто лет...”»), стихи, собранные ею в так и не вышедшую книгу «Тростник».

Чуковская отдавала Беньяш должное – та искренне была обеспокоена болезнью Ахматовой, готова была навещать ее в больнице.

Чуковская уличала Беньяш во лжи («полтора месяца обещала Хазину достать разрешение на въезд матери и сестры и, как выяснилось, все лгала о своих хлопотах»⁵⁰) и безответственности («она потеряла порядковый список стихов, ее машинистка все перепутала»⁵¹).

Беньяш имела благие намерения способствовать опубликованию «Поэмы без Героя» и повышению гонимости Ахматовой. Но действовала она не бескорыстно. Нет, речь идет вовсе не о материальной выгоде – Раисе Моисеевне важно было ощущать собственную значимость, весомость собственной роли в решении ахматовских проблем.

⁴⁷ Впервые опубликованы как приложение к I тому «Записок об Анне Ахматовой» (М., 1997).

⁴⁸ Чуковская Л. К. Ташкентская тетрадь // Записки об Анне Ахматовой. Т.1. С. 452.

⁴⁹ Там же. С. 427.

⁵⁰ Там же. С. 464.

⁵¹ Там же. С. 430.

(Так и в 1960-е, когда она стала известным ленинградским театральным критиком, была близка к БДТ, очень хотела Беньяш, как вспоминает В. Э. Рецеттер, «влиять на репертуар, на политику театра». Он видел, что она «дьявольски самолюбива»⁵²).

И она позвонила Толстому по поводу денег, втайне от Ахматовой гала ему «Поэму без Героя». Тут уж Ахматова, забыв о недавнем приятном времяпровождении вместе с Беньяш, разразилась при Лидии Корнеевне гневным монологом, выбирая отнюдь не деликатные выражения: «– Кто смеет бегать и клянуть от моего имени? Да не желаю я этих денег, они мне не нужны. Как она смела пойти без моего разрешения? Делают из меня такую же свинью, как сами! Неужели я прожила такую страшную жизнь, чтобы потом так кончить? И почему Р. М. Беньяш должна быть моим представителем?»⁵³

Что ж, Ахматова позволила себе быть грубой, этим монологом она резко отодвинула Беньяш и указала ей ее подлинное место возле себя...

Совсем другой, исполненной достоинства, бывала Ахматова в те часы, когда она тут же, в нишей комнатухе на Карла Маркса, вместе с художником Александром Григорьевичем Тышлером создавала свой поэтический образ.

К Тышлеру Ахматова относилась с симпатией, ценила его дар как художника театра. В его сценографии «Король Лир» с Михоэлсом в главной роли с огромным успехом шел в Ташкенте.

Тышлер приходил к Ахматовой, чтобы рисовать ее портреты. Он раскладывал бумагу и карандаши, и тогда двери ее комнаты действительно закрывались для всех. Ахматова читала свои новые стихи, по словам Тышлера, «эпически спокойно, тихо, выразительно, так, что между нею и слушателем словно бы возникала прозрачная поэтическая ткань. Создавалось своеобразное мягкое звучание тишины... Я как бы вполз в эту тишину и начал рисовать»⁵⁴. Рисунки Тышлера передавали различные оттенки психологического состояния Ахматовой, но чаще всего – ее углубленную сосредоточенность.

Не такой стороной она поворачивала себя к своим ташкентским приятельницам...

Возможно, в знак примирения после очередной ссоры с Р. М. Беньяш («Очень ее люблю», – говорила она о ней Л. К. Чуковской») Ахматова и подарила ей один из своих карандашных портретов и написала: «Милой Раисе Моисеевне Беньяш (Джонни) – На память о трех вещах: С. (так! – Т. П.) Тышлере, Ташкенте и обо мне

⁵² Рецеттер В. Гастрольный роман. Ностальгия по Японии. Окончание // Знамя. 2004. № 8. С. 36.

⁵³ Чуковская Л. К. Ташкентская тетрадь // Записки об Анне Ахматовой. Т.1. С. 498.

⁵⁴ Цит. по: Сыркина Ф. Без котурнов. Ахматова и Тышлер // Литературная учеба. 1989. № 3. С. 155.

грешной. Ахм.». (Портрет в настоящее время хранится в фондах Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме).

Ахматовский Ташкент – это, конечно же, смертельный ужас при мысли о сыне, отбывающем лагерный срок, тоска по оставшемуся в блокадном Ленинграде другу, В. Г. Гаршину, тоска по родному городу, но это и подаренная Ахматовой судьбой пусть призрачная, но свобода, игровая легкость в отношениях, какой-то ответ Серебряного века.

В Ташкенте Ахматова, как сама она позже вспоминала, «впервые узнала, что такое в палящий зной гревесная тень и звук воды...»⁵⁵.

В Ленинград из эвакуации Ахматова вернулась в июне 1944. Город неузнаваемо изменился. Он казался ей огромным кладбищем, где похоронены ее друзья. Она испытывала острое чувство одиночества. Да, рядом были семьи Агмони и Рыбаковых, готовые всегда прийти на помощь, но общение с ними было нелегким – они оказались свидетелями, как ей казалось, ее унижительного разрыва с Гаршиным. Раиса Моисеевна Беньяш и Дориана Филипповна Слепян – одни из немногих, у кого можно было спрятаться от тоски, одиночества, страха.

Д. Ф. Слепян приняла Р. М. Беньяш жить к себе, в Толстовский Дом, в двухкомнатную душную квартиру, заставленную мебелью красного дерева. Квартира ¹ 104 находилась в том сквозном дворе, что ближе к улице Рубинштейна, на первом этаже, в подъезде № 3.

Ахматова обычно приходила сюда со стороны Фонтанки. От Шереметевского дворца, где жила она в бывшем служебном флигеле, в коммунальной квартире, в конце 1940-х она шла тогда, вероятно, минут двадцать. Входила под высокую арку, пересекала дворы. Справа оставалась парадная, где перед войной на четвертом этаже, в 459 квартире, жил со своей семьей В. Г. Гаршин. Она так никогда и не поднялась туда...

Р. М. Беньяш тоже бывала у Ахматовой в Фонтанном Доме. Как всегда, старалась быть незаменимой. Остались воспоминания З. А. Никитиной, которая посетила Ахматову за неделю до разгромного постановления ЦК партии, что надолго вычеркнуло ее из советской культуры. Это было 7 августа 1946 года, за пару часов до торжественного вечера памяти Александра Блока в Большом драматическом театре.

«Когда я приехала к ней домой, у нее сидели два человека, в том числе Раиса Беньяш, большими буквами записывавшая стихотворение Блоку, которое Анна Андреевна собиралась читать в театре (она хотела читать его без очков). Это стихотворение было «Он прав, опять фонарь, аптека...»⁵⁶

⁵⁵ Ахматова А. Коротко о себе // Ахматова А. Сочинения в двух томах. М., 1990. Т. 1. С. 19.

⁵⁶ Цит. По: М. Козаков. Актерская книга. М., 1996. С. 19.

Есть свидетельство и о том, что Ахматова посещала своих приятельниц в Толстовском Доме и во второй половине 1950-х.

Литературовед, переводчик, историк музыки и театра Абрам Акимович Гозенпуг рассказал: «Случилось это в 1956 году. Я был знаком с писательницей Дорианой Слепьян, которая в пору моего недолгого заведования литературной частью Малого театра предложила свою пьесу. Плохую. Я ее отверг, но Дориана злобы не затаила. А когда я переехал в Ленинград, Слепьян с подругой пригласили меня к себе, не сказав, кто еще у них будет. В общем, когда я пришел к Дориане, увидел пожилую даму. Мне в голову не пришло, что это Анна Андреевна, хотя я знал многие ее портреты... И вообще красоту необычайную, не говоря уж о том, что я преклонялся перед ее поэзией. ... Так вот, я поклонился ей, она протянула мне руку, я поцеловал ее. Она назвала себя, но негромко, имени не расслышал. Однако что-то в ее облике поразило меня, хотя она была одета более чем скромно. Потом я узнал, что ее платье перелицовано дважды или трижды. Денег у нее не было. Собственно говоря, никогда не было, а когда они были, она их раздавала. Знаменитая историческая шаль была дырявая. Все ветхое. Но что-то царственное было в ее облике. Двигалась она медленно, потому что сердце было больное. Когда я услышал обращение “Анна Андреевна”, – обомлел. Так случилось, что мне выпала честь проводить ее домой...»⁵⁷

Теперь дорога от Толстовского до ее дома казалась Ахматовой очень длинной. Тем более, что и жила она в это время не на Фонтанке, а на улице Красной Конницы...

Вероятно, А. А. Гозенпуг застал одно из самых последних посещений Ахматовой Толстовского Дома – Ахматову стала всерьез тяготить репутация ее бывших ташкентских приятельниц. Беньяш рассказала Алле Сергеевне Демидовой, что как-то к ней «пришла Ахматова и сказала: “Раиса Моисеевна! До меня доходят странные слухи о наших отношениях. Читайте, что мы с этого дня незнакомы...”»⁵⁸.

...Пьесы Д. Ф. Слепьян давно уже в театрах не ставили. Иногда в журналах публиковали ее малоинтересные фельетоны и скетчи.

Р. М. Беньяш становилась все более заметным в Ленинграде театральным критиком. Взгляд ее был, действительно, острым – она умела видеть то, что не видит артист. Такие крупные актеры, как О. Басилашвили, А. Демидова, бывали ей благодарны за то, что она, анализируя их игру, подмечала, акцентировала те моменты, какие были пока еще только в их подсознании, и помогали тем самым им это выявить.

Писала она легко и ловко. Иногда ради красного словца и высокого пафоса могла отступить от прозаической правды. Как и произошло в следующем случае.

⁵⁷ Гозенпуг А. Неувядшие листья // Об Анне Ахматовой. М., С. 311.

⁵⁸ Демидова А. Бегущая строка памяти. М., 2000. С. 469.

Уже после смерти Ахматовой, в 1968 году, Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» опубликовало книгу Е. С. Добина «Поэзия Анны Ахматовой». В этой книге были опубликованы воспоминания Р. М. Беньяш об Ахматовой в Ташкенте, фрагмент из которых процитирован выше. Далее читаем: «Радио в ее комнате не выключалось. Когда она слушала очередную сводку, ее лицо казалось живым воплощением трагедии. Прорванная в двух местах стандартная тарелка трансляции превращалась рядом с Ахматовой в символ траура. Но и в самые мрачные дни она поражала глубокой верой. Как будто ей было известно то, чего еще не знал никто из нас...»⁵⁹

Лидия Корнеевна Чуковская, в целом высоко оценивая книгу Добина, высказала ему в письме несколько замечаний, одно из них касалось публикации воспоминаний Беньяш:

«Воспоминания Р. М. Беньяш, помещенные на стр. 142, заставили меня убедиться в склеротичности собственной головы. Очевидно, я спятила... В ту пору, о которой пишет Беньяш, я бывала у А. А. каждый день или через день; часто видела там милую Раису Моисеевну – но никогда радио... Приметами комнаты были: глиняная печь, стоявшая посреди; шахматный столик, невесть откуда попавший; железная грубая койка; окно, с видом на крыши... И (в моей памяти) никакого радио...

На нас, современниках, лежит большая ответственность: не создавать легенд».⁶⁰

О дружбе без лишних легенд

Основываясь на воспоминаниях бывшего артиста балета, позже – балетного педагога и режиссера Михаила Сергеевича Георгиевского, записанных в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и позже опубликованных в журнале «Нева»,⁶¹ мы можем составить себе некоторое представление об истории знакомства М. С. Георгиевского и его жены, балерины и историка балета Г. Д. Кремшевской, с Ахматовой.

Соседи по коммунальной квартире называли Георгиевского и Кремшевскую «идеальной парой». Сами они считали, что именно благодаря Ахматовой сложилась их семейная жизнь: их объединила любовь к ее поэзии, общая радость от общения с нею. Михаил Георгиевский, еще будучи подростком, ранние стихи Ахматовой

⁵⁹ Добин Е. Поэзия Анны Ахматовой. Л., 1968. С. 142.

⁶⁰ Цит. по: Ефимов Е. «Большая ответственность не создавать легенд» // Вопросы литературы. 2001. № 6. С. 273.

⁶¹ Георгиевский М. Встречи с Анной Ахматовой // Нева. 2000. № 6. С. 222 – 225.

читал в домашней библиотеке своего отца – главного врача земской больницы под Новгородом. Читал и переписывал в свою тетрадку. Интерес его к ахматовской поэзии углубился после того, как уже в Ленинграде, куда он приехал поступать в балетную школу, познакомился с литературоведом Виктором Владимировичем Виноградовым, исследователем ранней поэзии Ахматовой и ее знакомым.

В 1929 году Георгиевский был принят в труппу Малого оперного театра. Надолго ленинградская публика запомнила в его исполнении Антония в «Египетских ночах», Феба в «Эсмеральде», зажигательной лезгинки в «Гаяне».

В 1931-м, после окончания Вагановского училища, в Малом начала танцевать и Галина Кремшевская. Оказалось, что и она тоже любит стихи Анны Ахматовой.

В конце лета 1933 года они вместе решили прийти в Фонтанный Дом и позвонить в дверь квартиры № 44. Им запомнилось, что Ахматова была в черном японском халате с драконом на спине. Вероятно, в том, который Н. Н. Пунин привез ей в подарок из Японии.

Ахматова перелистала протянутую Георгиевским тетрадку с ее стихами, заметила: «...здесь есть самые слабые мои стихи, иногда мне хочется, чтобы некоторых из них вовсе не было». Читала им новое. Оставила в тетрадке шутовскую запись: «Мише Георгиевскому за трудолюбие».

Кремшевская и Георгиевский поженились осенью этого года. В своем стихотворении, обращенном к мужу, Галина Дмитриевна писала: «И не она ли привела / К соединению с тобою...»

В 1935 году молодая семья получила жилье в Толстовском Доме – комнату в большой коммунальной квартире, на последнем этаже, в 11-м подъезде. Общение с Ахматовой продолжалось. Галина Дмитриевна встречалась с ней и тогда, когда Михаил Сергеевич уезжал на гастроли.

14 ноября 1937 года Ахматова подписала ей свою «молодую» фотографию: «Милой Гале Кремшевской. С лучшими пожеланиями...» Видно, ей хотелось, чтобы они увидели ее такой, какой была она до всяческих ужасов XX века, спокойной, свободной...

Фотография сделана была в 1913 году в Слепневе, тверском имени Анны Ивановны Гумилевой, в 15-ти верстах от Бежецка. Пока сын Ахматовой рос там у бабушки, Ахматова проводила в Слепневе каждое лето. Возможно, рассказала она Галине Кремшевской о своих слепневских впечатлениях: видела, как «выходили на работу в поле бабы в домотканых сарафанах, и тогда старухи и топорные девки казались стройнее античных статуй»⁶². И еще: «распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, “воротца”, хлеба, хлеба...»⁶³. Там для Ахматовой открывалась Россия. Там были

⁶² Ахматова А. Слепнево // Анна Ахматова. Десятые годы. М., 1989. С. 87.

⁶³ Ахматова А. Коротко о себе // Ахматова А. Сочинения в двух томах. М., 1990. Т. 1. С. 19.

написаны многие стихи из «Четок» и «Белой стаи». В Слепневе застало Ахматову известие о начале Первой мировой войны. После 1917 года Ахматова уже больше никогда не возвращалась в Слепнево...

Слепневскую фотографию с ахматовским автографом М. С. Георгиевский передал в Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме вместе с другим ее подарком – сборником «Из шести книг», на титульном листе которого тоже была дарственная надпись: «Милой Гале Кремшневской. На память об Ахматовой. 1940 1 июня».

Ахматова сама по телефону пригласила Галину Дмитриевну прийти к ней домой за этим сборником. После берлинского «Anno Domini» 1923 года, за целых семнадцать лет, «Из шести книг» была первой большой публикацией Ахматовой. Однако очень скоро секретариат ЦК ВКП(б) постановил книгу стихов Ахматовой изъять. Продавали только писателям, по специальным спискам. Авторские экземпляры Ахматова дарила.

Галина Дмитриевна запомнила, что в свой последний предвоенный визит к Ахматовой она видела ее потухшей, с потемневшим лицом...

Следующая их, уже послевоенная, встреча была почти случайной. Вскоре после возвращения из пермской эвакуации обратно в Толстовский Дом, еще не зная, что и Ахматова недавно вернулась из Ташкента, Георгиевские пригласили «на пельмени» своих старых друзей, с которыми они когда-то познакомили и Ахматову – балерину Ксению Златковскую и ее мужа писателя Израиля Меттера. Пельмени были уже готовы, когда они увидели в окно, что приглашенные входят во двор со стороны улицы Рубинштейна, а в эту же минуту со стороны Фонтанки появляется во дворе Ахматова. Она шла в гости к своим ташкентским приятельницам, Р. Беньяш и Д. Слепян, живущим в другом подъезде того же дома. Златковской и Меттеру не стоило большого труда уговорить ее на этот раз поменять маршрут. Ахматова поднялась в их квартиру со словами: «Услышала про пельмени и не смогла устоять».

Вообще, можно сказать, что «балетный сюжет» в жизни Ахматовой самым тесным образом связан с Толстовским Домом. Известно, что долгие годы она дружила с выдающейся балериной Татьяной Михайловной Вечесловой. Ей в 1946 году посвятила стихи:

*Дымное исчадь полнолуны,
Белый мрамор в сумраке аллей,
Роковая девочка, плясунья,
Лучшая из всех камей.
От таких и погибали люди,
За такой Чингиз послал посла,
И такая на кровавом блюде
Голову Крестителя несла.*

В начале 1990-х свои воспоминания об Ахматовой Татьяна Михайловна Вечеслова начала так:

«Где и когда я встретила с Анной Ахматовой, как это ни странно, не помню. Не хочу, не могу ничего придумывать, прибавлять – не имею на это права»⁶⁴.

Однако Михаил Сергеевич Георгиевский очень хорошо помнил, что именно в их квартире в 1944-м познакомилась Ахматова с Татьяной Вечесловой, подругой Кремшевской по балетному училищу, и сразу же была очарована ею. А Вечеслова в 1975-м подарила Кремшевской свой портрет в роли Эсмеральды с надписью: «Спасибо тебе, что ты приобщила меня к А.А. Ахматовой. 19.02.75».

Галина Дмитриевна Кремшевская, закончив театроведческий факультет ГИТИСа, ушла со сцены, стала серьезным театроведом, историком балета. Писала книги о его мастерах. В 1951 году вышла в свет ее монография о жизни и творчестве Татьяны Вечесловой. Это был, пожалуй, последний год, когда Ахматова приходила в гости к Кремшевской и Георгиевскому.

В конце 1940-х вечера, проводимые Ахматовой у них в Толстовском Доме, бывали порой особенно приятны, как, например, вечер, в котором принимал участие любимый Ахматовой отец Дмитрий Журавлев. Случилась как-то в этом доме история, изрядно напугавшая и хозяев, и Ахматову. В этот раз вместе с ней пришла туда и Ольга Федоровна Берггольц. После застолья Ольга, будучи навеселе, громко запела в коридоре «Мы мирные люди, но наш бронепоезд...». И дальше – с употреблением ненормативной лексики. На нее с ужасом замахали руками: «Вы с ума сошли! Мы же в коммунальной квартире!» По счастью, обошлось⁶⁵.

Один единственный раз Ахматова привела к Георгиевским своего сына, недавно вернувшегося к ней после семи лет разлуки (тюрьма, лагерь, фронт), и красивую девушку, которую «почему-то называли “Птицей”». Это была Наталья Васильевна Варбанец, научный сотрудник Отдела рукописей и редких книг Государственной Публичной библиотеки и главная любовь в жизни Льва Николаевича Гумилева. Тогда никто не мог знать, что матери и сыну очень скоро опять предстоит семилетняя разлука, что в тисках лагерной несвободы Лев будет мечтать о своей Птице, что его надежды на будущую совместную жизнь с ней так и не смогут осуществиться...

Льва арестовали 6 ноября 1949 года. В последующие несколько дней Ахматова обходила в Ленинграде тех своих близких знакомых, у которых могли храниться ее рукописи, и сурово приказывала их сжечь. Почти никто ослушаться не посмел. Георгиевский написал в своих воспоминаниях, что Ахматова пришла тогда и к ним, в Толстовский дом. И тоже потребовала сжечь все, что она им дарила. «Она боялась за нас и за всех друзей, которых просила о том же. Мы обещали ей это.

⁶⁴ Вечеслова Т. Об Анне Ахматовой // Воспоминания об Анне Ахматовой. – М., 1991. С. 225.

⁶⁵ Георгиевский М. Встречи с Анной Ахматовой // Нева. 2000 г., № 6. С. 225.

Уже в дверях она спросила: «У вас есть, где сжечь?» «Есть, есть», – сказали мы. Когда мы вернулись в комнату. Галя, показав кукиш, сказала: «Вот мы это сожжем!» (Все, что у нас было, передано в Фонтанный Дом).⁶⁶

Все правда, кроме одного – М. С. Георгиевский пишет: «Она потребовала, чтобы мы сожгли все, что она нам дарил: фотографии, книги и «Реквием», который хранился у нас в двух экземплярах (не дубликатах, а вариантах). Галя по просьбе Ахматовой дважды печатала его для нее и оставила копии себе».⁶⁷

Но вспомним Л. К. Чуковскую: «На нас, современниках, лежит большая ответственность: не создавать легенд». Михаилу Сергеевичу Георгиевскому изменила память: экземпляры машинописи «Реквиема», поступившие от него в Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, включают в себя «Вместо предисловия» под которым стоит дата «1 апреля 1957»! До начала 1960-х годов Ахматова никому не давала перепечатывать «Реквием» – он сохранялся только в памяти самых близких ей людей.

...После переезда Ахматовой из Фонтанного Дома на улицу Красной Конницы она все реже и реже виделась с Галиной Дмитриевной Кремшевской и Михаилом Сергеевичем Георгиевским: сказывался возраст, болезни, расстояние...



⁶⁶ Там же.

⁶⁷ Там же.

М. Н. Колотило

ПРООБРАЗ ВОЛАНДА

...роман еще принесет вам сюрпризы.

М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

Реплика Воланда

Квартира в Толстовском Доме

До недавнего времени все булгаковеды считали, что прообразом нехорошей квартиры является вполне определенная московская квартира.

Однако мистика в романе «Мастер и Маргарита» и других произведениях великого писателя тесно перекликается и с Толстовским Домом, и с квартирой 660. Сразу же оговорюсь, что не стоит путать «Легенду о нехорошей квартире» (помещенную в книге «Толстовский Дом. Люди и судьбы»), записанную мной со слов старых жителей дома и представляющую собой художественно-литературную миниатюру-сказку о вымышленной квартире № 60, и реальную квартиру 660.

Когда готовилась книга «Толстовский Дом. Люди и судьбы», то была неизвестна причастность к Толстовскому Дому Михаила Булгакова. Однако мистика великого романа такова, что многие фантастические и сказочные сюжеты становятся явью.

После выхода в свет в 2010 году книги «Толстовский Дом. Люди и судьбы» я подарила экземпляр этой книги Елене Петровне Нищенко, внучке знаменитого востоковеда Дмитрия Матвеевича Позднеева, жившего в Толстовском Доме в 660 квартире. Елена Петровна, прочитав книгу, воскликнула: «А я действительно с детства слышала, что нашу квартиру называли нехорошей. Мало того, Михаил Булгаков – наш родственник, часто бывал у нас и даже останавливался в нашей квартире, приезжая в Ленинград».

Дело в том, что дядя Михаила Булгакова Петр Булгаков (брат отца) был женат на сестре Дмитрия Матвеевича Позднеева. Петр Булгаков с женой длительное время жили в Японии. В это же время в Японии жил и Дмитрий Позднеев. Дети Петра Булгакова и сестры Позднеева во время жизни родителей в Японии росли в Киеве в семье Афанасия Булгакова. Их в шутку в семье Булгаковых называли

«японцами». Один из них – Костя Японец всю жизнь был ближайшим другом Михаила Булгакова. Кроме того, опубликована обширная дружеская переписка между Афанасием Булгаковым и старшим братом Дмитрием Позднева.

Портрет Воланда

В книге «Толстовский Дом. Созвездие имен» мною было впервые высказано предположение, что внешний облик выдающегося востоковеда Дмитрия Матвеевича Позднева, возможно, послужил одним из прообразов Воланда. Во всяком случае, Булгаков «подсмотрел» некоторые его черты и наделил ими Воланда.

Портрет Воланда показан Булгаковым в последней редакции романа во время встречи на Патриарших прудах и перед началом Великого бала.

Встреча на Патриарших: *«... ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой – золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду – лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой.»*

Перед началом бала: *«Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый с золотую искрой на дне, сверлящий любого до дна души, и левый – пустой и черный, вроде как узкое игольное ухо, как выход в бездонный колодезь всякой тьмы и теней. Лицо Воланда было скошено на сторону, правый угол рта оттянут книзу, на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие параллельные острым бровям морщины. Кожу на лице Воланда как будто навеки сжег загар.»*

Случайное сходство?

Михаил Булгаков объяснял друзьям, почему избегает даже малейшего сходства Воланда с какой-нибудь реальной личностью: «Не хочу давать повода любителям разыскивать прототипы. У Воланда никаких прототипов нет».

Так ли это?

- У Воланда левый глаз «пустой, мертвый», и у Д. М. Позднева левый глаз пустой, мертвый. В юности он в результате несчастного случая лишился левого глаза, и в Японии ему изготовили искусственный фарфоровый глаз.

- Воланд – профессор. Д. М. Позднеев тоже профессор. После 1917 года он работал штатным профессором Петроградского университета, читал курсы по экономике и истории Японии и Китая. Как вспоминала внучка Дмитрия

Матвеевича Наталья Кабанова, у него на двери была табличка: «Профессор Дмитрий Позднеев». В первой редакции романа у Воланда визитная карточка «Профессор Теодор Воланд».

- Воланд – консультант. Д. М. Позднеев тоже консультант.
- Воланд – специалист по древним восточным рукописям, и Д. М. Позднеев специалист по древним восточным рукописям.
- Воланд «был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях». Дмитрий Позднеев также носил дорогие «заграничные» костюмы серого и черного цветов. По тем времена это было необычно и сразу же бросалось в глаза.
- О Воланде: «...ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого». Позднеев был высокого роста. На семейной фотографии видно, что он выше старших братьев.
- Воланд «брюнет», и Позднеев брюнет.
- У Воланда «рот какой-то кривой». Такой же особенностью обладал и Позднеев. Поэтому и стал носить усы и бороду.
- У Воланда «правый глаз черный, левый почему-то зеленый».
- У Воланда «брови черные, но одна выше другой». У Позднеева тоже черные брови и одна выше другой (вероятно из-за отсутствующего левого глаза).
- Воланд курил трубку и постоянно носил массивный золотой портсигар. О Позднееве: «...курил трубку и постоянно носил с собой табакерку». Был у него и массивный золотой портсигар.
- «Голос Воланда был так низок, что на некоторых словах давал оттяжку в хрип». Про Позднеева внучка (Наталья Кабанова) пишет: «Дед любил музыку и очень хорошо ее знал. Он прекрасно пел. Я сохранила в памяти красивый тембр его густого баса, поставленного еще в семинарском хоре, где он вел партию октависта». Партия октависта – очень редко использовалась в церковном хоре, так как была на октаву ниже басовой партии, а такие голоса встречаются не часто. Низкий тембр голоса был характерен не только для Дмитрия Позднеева, но и для его детей, и даже внуков. Например, низким тембром голоса обладала его внучка Наталья Кабанова и обладает его внучка Елена Нименко.
- Воланд носил шапочку. Бархатную шапочку носил и Позднеев.
- Воланд появляется в Москве, по расчетам в 1923 году. В 1923 году Позднеев начинает работу в Москве, преподает в Военной академии РККА.
- У Воланда один из сопровождающих – огромный черный кот Бегемот. У Позднеева была огромная черная кошка, очень привязанная к нему лично. После гибели профессора кошка легла на его домашние тапки, затосковала, ничего не ела и так и умерла.

Неужели все это случайно совпало?



Профессор Дмитрий Матвеевич Позднеев – выдающийся специалист по восточным рукописям, консультант Ленинградского музея этнографии, внештатный консультант штаба РККА по дальневосточным вопросам и житель 660 квартиры. Возможно, что он послужил одним из прообразов Воланда.

Мистика после гибели профессора

***Говорят, что в старых домах живут тени их обитателей,
энергия их мыслей и творчества.***

Алла Демидова

После гибели Дмитрия Матвеевича Позднеева стали происходить странные и неприятные события. Назову лишь некоторые из них.

- В квартире поселился сотрудник НКВД.
- Клопы и тараканы напали на эту квартиру. (Смотри воспоминания С. Г. Парчевского).
- В конце романа Воланг со свитой стоит на крыше дома П. Е. Пашкова, который был родственником второй хозяйки Толстовского Дома графини О. А. Толстой.
- Главной скандальной помехой выхода в свет фильма «Мастер и Маргарита» (1994 года) и претендентом на авторские права стал С. Шиловский, внук третьей жены Булгакова. Ситуация частично разрешилась спустя шестнадцать лет, в 2011 году.
- В бывшей квартире профессора Позднеева за ее долгую историю тоже много чего случилось, но не с Шиловским, как у создателей фильма.
- Съемки фильма А. Бортко «Собачье сердце» происходили в доме № 27–29 на Моховой улице, где жили владельцы Толстовского Дома граф М. П. Толстой и графиня О. А. Толстая.

Попытка отождествить себя со сказочным персонажем, или: Мистика продолжается!

Дорого – мило, дешево – шило

В. И. Даль. Русская народная поговорка

Очень причудливо мистика, связанная с прообразом Воланга, продолжилась и в наши дни. Один из жильцов Толстовского дома попытался в суде доказать, что в художественно-литературной миниатюре-сказке о вымышленной квартире № 60 (в книге Толстовский Дом. Люди и судьбы») в качестве главного героя представлен он. При этом он почему-то придумал, что в легенде было написано (хотя там этого нет и в помине), что фамилия персонажа похожа на непотребное английское слово. На самом деле, там было написано, что фамилия персонажа похожа на английское слово «черт», т. е. в русской транскрипции «деус» или «девил». Померещившееся же истцу непотребное английское слово переводится как

«понос», «диарея», «дефекация»... Затем данный господин в течение многих месяцев доказывал суду, что его фамилия похожа на это слово.

Зачем ему все это было нужно?

Сразу скажу: не знаю! Иначе как мистикой – не объяснить!

Но даже этих, очень странных попыток, многоуважаемому господину истцу, оказалось мало. На основании нумерологических построений, проведенных по заказу его сожительницы, он еще и пытался доказать, что мифическая квартира 60 – это квартира 660. Не понятно только одно: зачем вся эта нумерологическая эквилибристика? В Толстовском Доме на самом деле есть помещение с номером 60, но оно – нежилое! Так что у истца получился небольшой нумерологический промах. Всего на число 600. И в добавок перепутал жилое с нежилым! (Любопытно, что истец все время манипулировал числами, содержащими цифру шесть).

Самое интересное, что согласно документам, представленным в суд, лексические и нумерологические исследования были проведены до того, как истец узнал о существовании моей книги! (Согласно его исковому заявлению). Видимо, пригрезилось!

Как писал М. А. Булгаков, – *«Мы в восхищении!»*.

На основании всех этих выдающихся умозрительных построений и предчувствий истец очень хотел заполучить 1000000 (миллион!) рублей, которые ему были чрезвычайно нужны! Для чего, он суду не объяснял. Вероятно, для лечения душевных ран и болезней.

Конечно же, приятно, что он оценил «поруху» своей чести и достоинства от каждого экземпляра моей книги (а всего этих экземпляров 600) в 1666 рублей и 66 копеек!!!

Шестерки и тут в большом количестве! Истец, видимо, неравнодушен к шестерке! Какова связь истца с шестеркой – мне не известно.

А еще истец хотел, чтобы извинения перед ним, помимо необходимого ему миллиона (странно, почему не шести миллионов?!), были размещены на сайте ТСЖ «Толстовский Дом» (и даже представил его интернет-адрес), хотя такого сайта, с придуманным им адресом, не существовало в то время. Наверное, хотел, чтобы сайт был создан специально для размещения извинений за то, чего не было...

Да-а-а... Как говорил Воланд, – «роман еще принесет вам сюрпризы».

Пользуясь случаем, приношу господину истцу, который пытался доказать свою идентичность с персонажем сказки, искренние соболезнования в связи с тем, что ни вымышленный легендарно-сказочный литературный герой, ни вымышленная легендарно-сказочная шестидесятая квартира из «Легенды Толстовского Дома», не имеют к нему никакого отношения, невзирая на его попытку доказать это в суде. Персонажи легенд и сказок (в том числе Змей Горыныч, Соловей Разбойник, Чудо-Юдо, Кашей Бессмертный, Иванушка Дурачок,

Идолище Поганое, Человек-Паук, и т. д.) не могут напрямую соответствовать реальным людям, как бы этого не хотелось тому или иному реальному человеку.

Во избежание дальнейших судебных тяжб я сразу же заявляю, что готова извиниться за Шекспира перед теми, кого держат в специальных больницах из-за попыток отождествить себя с принцем Гамлетом.

На всякий случай сообщаю, что главный герой романа Ф. М. Достоевского «Идиот» также не имеет никакого отношения ни к Толстовскому Дому, ни к какому-либо жителю его. Даже если кому-нибудь очень захочется примерить на себя этот образ.

А еще я искренне считаю, что фамилия истца ни в коем случае не похожа на то ужасное и непотребное слово, которое он указал в исковом заявлении в качестве созвучного своей фамилии. Мистическое созвучие с фамилией главного недоброжелателя фильма «Мастер и Маргарита» (1994 года) и претендентом на авторские права С. Шилковского (внука третьей жены Булгакова), конечно же, не мое изобретение.

Если кому-то это не нравится, и у него появится желание судиться и вымогать деньги за эту «похожесть», то прошу иск предъявлять не мне, а Воланду, «духу зла и повелителю теней»...

Гибель людей в бывшей квартире Дмитрия Позднеева

Обидно... обидно смотреть, как гибнут люди.

Но я ничем не могу помочь.

Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита».

Роман «Мастер и Маргарита» – мистический, многослойный, насыщенный символами, аллюзиями и реминисценциями. Например, в «булгаковской» нехорошей квартире пропадали и сходили с ума люди... В нехорошую «булгаковскую» квартиру вселились двое хозяев: Лиходеев и Берлиоз с супругами, но вскоре жены обоих исчезли, одному из хозяев нехорошей квартиры трамваем отрезало голову, а второй оказался в другом городе...

Удивительно, но в квартире Толстовского Дома, где когда-то жил прообраз Воланда, тоже происходили события, связанные с гибелью и исчезновением людей.

- Погибли двое сыновей профессора Позднеева;
- Погиб ребенок, случайно обварившись кипятком (это была малолетняя внучка профессора Позднеева);
- Погибли зять и дочь профессора Позднеева;
- Сошла с ума (ее несколько раз лечили в психиатрической больнице) и совершила самоубийство (выбросилась из окна этой квартиры) жительница по фамилии Кумшатская;

- Совершили самоубийства и умерли от болезней несколько жителей этой квартиры;

- Попали в психиатрическую больницу несколько жителей этой квартиры;
- Etc. (лат. – «и так далее»)..

Чем и когда закончится эта череда смертей и самоубийств в квартире профессора, известно только Волангу...

Как писал Михаил Булгаков, – *«колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уже его ничем не остановишь».*

Возможно, что Аннушка уже вновь где-то пролила масло...

«Дух зла и повелитель теней»

Стены старых домов хранят память о тех, кто в них был. Среди тех, кто жил и бывал в Толстовском Доме – поэты и музыканты, писатели и ученые, актеры и военные, строители и чекисты, авантюристы и честнейшие труженики...

В размышлениях Аллы Демидовой об Анне Ахматовой есть образ памятника легендарной Прасковье Жемчуговой, ставшей графиней Шереметевой. Памятник стоял во дворе Фонтанного Дома. На памятнике была надпись на французском языке, сделанная ее мужем:

«Я хочу видеть ее ускользающую тень,
Блуждающую вокруг этого дома...»

Расположенный неподалеку Толстовский Дом хранит тень убитого профессора, послужившего одним из прообразов Воланга. Эта тень не успокоилась и блуждает вокруг своей квартиры. Эта тень, также как Воланг («дух зла и повелитель теней»), воздаст «каждому по вере его», предварительно задав «воланговский» вопрос некоторым «хорошо образованным» специалистам по «осетрине второй свежести»: «Вы когда умрете?» И, как Воланг, разъяснит своим незванным гостям-насельникам: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!»